



Собрание сочинений

**Юзеф Игнаций  
Крашевский**

*Стременчик*

История Польши

Юзеф Игнаций Крашевский

**Стременчик**

«Э.РА»

1882

УДК 82-3  
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

### **Крашевский Ю.**

Стременчик / Ю. Крашевский — «Э.РА», 1882 — (История Польши)

ISBN 978-5-907291-32-4

Восемнадцатый роман из серии История Польши «Стременчик» рассказывает о времени польского и венгерского короля Владислава Варненчика (1434–1444). На этот раз главным героем романа писатель делает известного польского гуманиста Григория из Санока. Желая учиться, Григорий убегает из родительского дома и поступает в Краковскую академию. Благодаря своим талантам, он попадает на королевский двор и становится неофициальным советником короля и королевы-матери. В романе хорошо показана борьба короля за венгерский престол, в результате которой Владислав становится королём Венгрии. Также автор подробно останавливается на войне с турками и последней битве короля при Варне. На русском языке роман печатается впервые.

УДК 82-3  
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

ISBN 978-5-907291-32-4

© Крашевский Ю., 1882  
© Э.РА, 1882

# Содержание

Том I	6
I	6
II	16
III	26
IV	37
V	46
Конец ознакомительного фрагмента.	52

# Юзеф Игнаций Крашевский

## Стременчик

*Пану Владиславу Белзе, в доказательство уважения и дружбы  
посылает автор.*

*Дрезден*

*20 сентября 1882*

© Бобров А.С. 2020

## Том I

### I

Кто бы однажды весенним вечером 1412 года встретился с паном Цедро Стременчиком и поглядел в его налитые кровью глаза, присмотрелся к его нахмуренному лицу, стиснутым губам и сильным рукам, сжатым точно для боя в кулаки, легко бы поверил тому старинному преданию, которое гласило, что люди этого рода, Стременчики, были главными и самыми жестокими помощниками вспыльчивого короля в убийстве св. Станислава.

Этому приписывали, что род Стременчиков с того дня кровавой памяти упал, обнищал и до первого великолепия подняться уже не мог.

Цедро Стременчик, хоть происходил из хорошего шляхетского гнезда, хоть прадед его еще держал значительные земли в Краковском, совсем обнищал, не имел ничего, кроме мизерного клочка земли под Санокком, с которого выжить ему с двумя детьми было трудно, если бы его королевская милость не поддерживала.

Памятуя о давних связях с этим домом, Рожицы и Шренявицы рекомендовали его королю Ягайлле, при дворе которого он служил, выполняя разные обязанности.

Но теперь, хоть всегда числился в реестре панского двора и получал какую-то пенсию, ни на что уже способен не был.

Возраст, невзгоды, несвоевременно выстраданные, болезнь и сам беспокойный характер, который постоянно будоражил его кровь, до остатка исчерпали его некогда огромную силу.

Возраст Цедро не превышал шестидесяти лет, что тогда не делало человеком старым, потому что люди, закалённые смолоду, долго оставались крепкими, но глядя на него, можно было дать на десять лет больше, так ослаб, особенно ногами. Огромный рост и живот поднимать было уже тяжело и они делали его слабее. Он едва держался на ногах, дышал тяжело, когда немного прошёлся или поговорил, в груди его хрустело, а любая мелочь приводила его в болезненный гнев и неистовство.

Не раз летом жужжание мухи приводило его в ярость.

Был Цедро Стременчик лет десять вдовцом, а от благочестивой жены осталось ему двое сыночков. При большой бедности и убывающих силах забота о них днём и ночью не давала ему покоя; и хотя о детях у него не было причины излишне беспокоиться, он вздыхал, что нечего было им оставить и некому их поверить, не надеялся, может, сам их воспитать и выпустить в свет. Он чувствовал, что всё меньше даже на хлеб повседневный мог сам заработать, поэтому всю надежду видел в ребятах.

Муж рыцарского ремесла, некогда ловчий и становничий короля, он не понимал для детей другого будущего, только службу на коне с мечом у пояса.

Младший сын, любимец отца, которого звали Збилутом, показывал склонность к рыцарскому ремеслу, чего желал отец; а был так же, как будущий вояка, непомерно дерзкий, алчный, а что хуже, хитрый, пресмыкающийся, умелый клеветник и льстец. Отец ему много прощал и, видя в нём все самое лучшее, предсказывал ему большое будущее. Старшего, Гжесья, он терпеть не мог, потому что казался ему своенравным и упрямым.

Тот никогда не лгал отцу, наказание сносил терпеливо, но не давал себя склонить к его планам.

Как раз в этот день Цедро сильно его избил, а мальчик, хоть обливался кровью, не пискнул даже и исправиться не обещал.

Отец кричал, что его нужно на ветку, потому что иного спасения нет. Трудно было догадаться, о чем у него шла речь. Вот этот Гжесья, несмотря на запрет, целые дни, когда только

удавалось ускользнуть, проводил в школе с клехами, такое было желание учиться. Цедро же для рыцарского человека бакалаврство находил излишним. Гжесь также пел красивым голосом в костёле, что как бабскую вещь отец порицал.

– Клеху в семье иметь не хочю и не нужно, – повторял постоянно старик.

Гжесь, теперь двенадцатилетний, Збилут на два года младше имели приказание с утра бросать копьё, стрелять из лука, сражаться на саблях и на старых конях, которых Цедро специально держал для этого, сражаться и привыкать крепко держаться в седле. Впрочем, им было разрешено упражняться в каком хотели бою, лишь бы не слепнуть над алфавитом и таблицей.

Как бы наперекор семье, старший, познакомившись с бакалавром при костёле, который его полюбил, постоянно сбегал к нему, втайне жадно учился письму, пению и тому, что только могла дать школа, просиживал в ней и, хотя отец его за это серьезно притеснял, ту науку, к которой горел, из головы его выбить было невозможно. Порой это вводило Цедро в яростный гнев, во-первых, оттого, что непослушания в ребёнке стерпеть не мог; во-вторых, что учёбой, не нужной рыцарю, гнушался, а клехов, ею занимающихся, не сносил. Было это, может, в крови.

Он был набожным по-своему, но духовенства больше боялся, чем уважал.

Два брата, лицом довольно похожие друг на друга, оба очень красивые, как нарисованные, потому что это досталось им от матери, характерами очень отличались друг от друга.

Они не очень друг друга любили, хоть Гжесь не обижал младшего. Изнеженный любимец отца, младший старшему во всем завидовал, подглядывал за ним, шпионил, доносил отцу, когда что подхватит, и подло льстил ему и подлизывался.

Если он сделал что-нибудь и заслужил наказание, умел ловко отделаться ложью и клятвами, свалить вину на брата, а родителю упасть в ноги, разыгрывать плачь и раскаяние, хотя потом посмеивался над его легковерием.

В юном возрасте он уже был напроочь испорченным... Что-нибудь тайно схватить, слизнуть, устроить подлую выходку, раздавить слабого, мучить животных было для него милее всего. Когда проказничать не мог, готов был целыми днями лежать, объевшись, кверху брюхом и бездельничать.

Заискивая перед отцом, он сзади показывал ему язык и насмехался над его непутёвостью.

Также он поступал с братом и со всеми. Наглости ему было не занимать, а настоящего мужества не имел и становиться в борьбу с более сильным не решался. Когда ровесники вызывали его на поединок, он убегал. Словом, все в нём предсказывало неисправимого негодяя и распутника.

Гжесь имел ту же горячую кровь, но характер благородный, душевную силу не по возрасту, выдержку и чрезвычайное постоянство. Он также показывал изумительные способности, которых брату не хватало.

Бакалавр от прихода, который учил в местной школе, часто говаривал, что Гжесь, казалось, как бы вспоминал только то, чему его научили, так легко всё усваивал. Удивительная вещь – лишь бы была малейшая подсказка, сам уже дальше шёл той дорогой, какую ему указали, приводя в недоумение учителей.

Красивый, ловкий, сильный, хорошо сложенный, с большими тёмными глазами, в которых уже горел не детский разум, Гжесь так рвался к науке, как Збилут ею гнушался.

Поначалу отец был не против того, чтобы сыновья научились читать, но клехов из них делать не думал, и эта страсть Гжесю учиться всё больше, всё иным вещам пробуждала в нём ужасный гнев.

Пение и брэнчание на цитре он наказывал безжалостной поркой. Запретил ему позже переступать порог школы, пригрозил бакалавру, если посмеет его принимать, но всё это не помогало.

Гжесь, когда не мог прокрасться к приходу, писал на стенах и песке. Збилут доносил об этом отцу, Цедро бил, а мальчик возвращался к своему и, даже не обещая исправиться, молчал. Между своенравным Гжесем и гневным родителем была постоянная борьба.

Как раз в этот день старый Цедро снова имел такую перепалку с сыном. Збилут обозвал его предателем за то, что, влезши на крышу, тайно там что-то писал, достав неизвестно откуда кусок бумаги или шкуры.

Его схватили на месте преступления, с ещё мокрым листком, отец его снова побил, не в состоянии еще остыть от гнева. Жаловаться было некому, он бормотал и потихоньку ругался.

Побитый мальчик, с растрёпанными волосами, кроме розг, выпросивший синяки, сидел за углом усадьбы, подпёршись на руку, и думал. Боль выжала слезы из его глаз, но на красивом, грустном его личике больше было задумчивости, чем гнева...

Двенадцатилетний мальчик размышлял... Из-за другого угла выглядывал, подсматривал недостойный Збилут, чтобы что-нибудь донести отцу на брата. Не мог, однако, разглядеть в нём той злобы, какую бы он сам почувствовал, если бы столкнулся с подобным наказанием. Бедный Гжесь вздыхал и думал. Видно было, что отцовскую власть, даже когда несправедливо корила, он признавал и сдавался ей с покорностью, ища только средств, чтобы примирить волю отца с тем, что желала его собственная душа.

Дав брату повсдыхать, Збилут, который равно клеветал на отца, как на него, и делал вид, что скорбит о судьбе Гжеся, медленно приблизился к нему.

Наполовину детское лицо неловко старалось принять выражение сердечности и сочувствия, за которыми скрывалась насмешка:

– А! А! – шептнул он потихоньку. – Боже мой! Как этот отец жесток и немилосерден. Так тебя побил!

Гжесь посмотрел на него и ничего не отвечал. Збилут стоял перед ним, внимательно уставив в него глаза. Хотел вызвать на слово, которое бы отцу повторил. Старший молчал.

– Зачем тебе эта школа и глупое письмо? – добавил он.

Гжесь пожал только плечами. Догадался и разгадал брата, не желая с ним ввязываться в разговор.

Тем временем наступали сумерки и хозяйка несла в избу ужин, позвав в неё мальчиков. Гжесь выпросил у неё сухой кусок хлеба и остался за углом.

Отец, убедившись, что его нет за столом, тоже упомянул о нём.

Подождав только, когда Цедро за едой остыл, Збилут сказал потихоньку:

– Гжесь за углом сидит, кулаки грызёт от злости, хоть бы заплакал!!

– Молчи, – прервал старик коротко и сурово.

Не любил он Гжеся, его вид пробуждал в нём неуправляемый гнев, желание сломить сопротивление этой души, но удивлялся этому железному характеру сына и жалел о нём.

За ужином старик ел мало, бормотал, бил кулаком о стол, на похлёбку даже не взглянул. Весь был в себе, думая даже над средствами, какими бы мог укротить непослушного ребенка.

Цедро нескоро лёг спать, хотя чувствовал себя уставшим и больным. Збилут, поцеловав его в руку, обняв за колено, не заглядывая к брату, скользнул в комнату, в которой оба спали, и поспешил лечь спать.

Гораздо позже на цыпочках, потихоньку втиснулся в каморку Гжесь и, не раздеваясь, бросился на постель.

На следующее утро, когда Збилут, слыша в доме шум, протёр глаза, уже белым днём, на постели рядом Гжеся не было.

Отец не спрашивал о нём.

Збилуту сначала пришло в голову, что брат, наверное, украдкой сбежал в приходской костёл с жалобой к бакалавру, который был его опекуном и поверенным.

Догадливый мальчик не ошибся и, быть может, воспользовался бы этим, пускаясь за братом и выслеживая его шаги, чтобы о них донести отцу, но у него были какие-то более неотложные дела, потому что был обжорой и лакомкой, а сначала должен был что-то украсть у хозяйки, чтобы удовлетворить голод. Знал также, когда неслись куры, и подбирал яйца, которые с удовольствием выпивал.

Старый Цедро вскоре выбрался в город.

От усадьбы Стременчиков до костёла нужно было пройти приличный кусок дороги крутыми улочками, но только у Гжеся была знакомая, ближайшая тропинка, между садами и заборами, по которой он привык прокрадываться.

Здание школы при костёле, в котором размещались бакалавр с кантором, было таким же бедным и заброшенным, как большая часть подобных зданий в этом веке. По правде говоря, не было более или менее значительного костела, который бы не имел школы, хоть её не много детей посещало, но мало где усердней старались об их привлечении и регулярной учёбе молодежи. Шёл, кто хотел и кого послали родители.

Были при костёлах схоластики, в обязанность которых входил надзор за школами, но те только присматривали, чтобы бакалавр прививал науку и религиозные принципы согласно синодальным предписаниям. Никто в школу не гнал.

В городах некоторые семьи, обремененные многочисленнейшим мужским потомством, в видах посвящения духовному сану, одного из сыновей отдавали бакалавру. С той же мыслью посылала детей бедная шляхта. Многим казалось, что духовное облачение носить легче, чем кубрак и доспехи.

Бакалавры, клехи, канторы были это также бедняки или вздыхающими по рукоположению, или недоучившиеся клирики, которые не могли его получить, умирали с голоду, прислуживая при костелах.

Из многих примеров, однако, видно, что в таких школах достаточно эффективно учили первым принципам, прививали начальные подготовительные сведения, когда из них выходили такие люди, как архиепископ Войцех Ястжебец, что начал с костельной школы в Бенсове.

Не гнушалась ими беднейшая шляхта, желая сделать из сыновей ксендзев, а личного бакалавра держать для них не в состоянии.

За костницей, между кирпичным домом пробоща и викарией, стояла деревянная школа, такая покинутая и бедная, что выглядела не лучше хлева. Одна пустая комната в ней была предназначена для молодёжи, остальные служили для склада лома и костельного старья, а прилегающая каморка – прибежищем кантора и бакалавра. Не всегда даже эта школа была незакрытой, потому что летом хозяйка пробоща не раз в ней раскладывала зелень и овощи, осенью – плоды и семена, а уважать должны были, что опеке бакалавра их доверила.

Также дивными запахами благоухала непрветриваемая школа, потому что в ней еда, конопля, зелень, духота, дым, впитавшийся в стены, и остатки костельного кадила смешались вместе.

Свет попадал скупо, а, кроме лавок на вбитых в пол ножках и стола, порезанного детьми, пары полок у стен и потрескавшейся печи, других вещей не было.

Пол, пожалуй, дети из милосердия подмели.

Бакалавра, поседевшего уже на исполнении своих обязанностей, человека молчаливого, хмурого, бледного, с суровыми глазами, мягкого от природы, звали Ячком Рыбой. По правде говоря, у него за печью были розги, мокнувшие в ушате, но он чаще показывал их для устрашения, чем использовал.

Незаметный, нездорово выглядящий, сломленный неудачей всей жизни, он прибил уже к тому пределу, стоя на котором можно смотреть со спокойствием и резигнацией на отдаленные вершины, хоть не в состоянии их достигнуть.

Это была светлая душа, в которой любовь к людям и Богу не убила злая доля и мучение долгих лет. Яцек Рыба не испортился, Бога и предназначение за свою долю не упрекая.

Самым большим удовольствием для него было пробуждать молодые умы к жизни, прививать им то, что сам приобрёл, а когда было время, мог хвататься за серьёзные книги, читать их и думать над ними. Достав новую рукопись, с чем тогда бакалавру было нелегко, он сел её переписывать, порой дни и ночи проводя при лучине над Боэцием или каким-нибудь римским поэтом. Привозили тогда в Польшу эти сокровища многочисленные монахи, которых высылали в Рим и Италию для церковных дел или для учёбы.

Яцек Рыба был первым учителем Гжеся Стременчика и этим своим воспитанником гордился. Он считал его чудесным ребёнком, благословенным от Бога, обещающая великую будущность.

Бакалавр, едва умывшись и прочитав молитву, приготовился идти на заутреню в костёл, когда с удивлением увидел своего любимца, живо вбегающего в каморку, с румяными щеками, запыхавшегося, перепуганного. Ничего не говоря, мальчик схватил его за руку и, взволнованный, начал её целовать.

– Что же ты такая ранняя пташка? – спросил беспокойно Рыба.

Он внимательно поглядел; в глазах у Гжеся стояли красноречивые слёзы. Бакалавр знал, что мальчик терпел от отца, его сердце сжалось, погладил его по голове.

– Ну, говори! – сказал он тихим голосом.

– А! Отец! – отозвался Стременчик, привыкший его так называть. – Я не знаю, что мне делать! Дольше уже так не пройдёт. Да будет воля Божья! Отец... отец...

Бакалавр многозначительно покачал головой, будто хотел сказать:

– Я тебя знаю! Но родителей нужно уважать.

Мальчик вздохнул.

– Оттого, что уважаю отца и гневить его не хочу, должен уйти прочь отсюда, должен.

Рыба фыркнул, отступая назад.

– Что с тобой? Ради Бога! Куда?

– Куда? Разве я знаю! – шепнул Гжесь. – В свет! В Краков! Отец хочет из нас обоих обязательно сделать солдат, а мне сам Господь Бог для чего-то иного предназначил. Вы сами мне не раз говорили, что глас Божий слушать нужно, а я чувствую его в себе. Я предпочел бы умереть, чем жить без науки, для неё в свет идти должен.

Вытерев быстро слезы, он чёрными глазами быстро поглядел на бакалавра, который стоял грустный и задумчивый.

– Я слышал от вас, что в Кракове для бедных, как я, ребят есть сострадательные люди, которые их кормят, чтобы во славу Божию учиться могли.

– Дитя! Дитя! – подхватил бакалавр. – Бог милосерден над покинутыми, и есть на свете добрые люди, но пойти в свет с саквой на спине, с деревянной миской у пояса, просить милостыню для хлеба и света, ты не знаешь, что нужно претерпеть...

Мальчик гордо встрепенулся.

– Разве я не могу терпеть? – воскликнул он. – Разве мне дом был раем? Я уже ребёнком привык к голоду и холоду.

Тут, поцеловав снова руку бакалавра, точно этой покорностью хотел его смягчить и подкупить для себя, добавил:

– Вы немного научили меня петь, могу на улицах с другими тянуть жалобные песни. За это люди дают хорошие калачи и гроши... Я также умею, по вашей милости, неплохо писать.

Рыба улыбнулся, хлопая его по плечу.

– А! Ты! Ты! – сказал он веселее. – Ничего! Ты рисуешь, не пишешь, и такой каллиграф из тебя, хоть сопливый, что и со старыми не постыдишься состязаться. Об этом нечего говорить, это правда, это правда.

Гжесь живо прервал:

– Ну, значит, чего мне опасаться? Лишь бы дотащиться до Кракова, разве это великая беда. В каждом приходе ночлег мне дадут, в каждом монастыре покормят. Много хлеба мне не нужно, ложкой еды буду сыт.

Когда он это говорил, глаза его светились.

– А отец? – спросил Рыба. – Что скажет отец, когда тебя хватится?

Гжесь опустил глаза.

– Отцу Збилут останется, – произнес он тихо. – Он его больше, чем меня, любит. Я ему только упрёк и обуза.

Избавится, забудется, легче ему будет. Слушать его не могу, значит, обиды Божьей избегну, а он по мне, – закончил он грустно, – плакать не будет.

Задумчивый бакалавр, ничего не говоря, покачал головой.

Стоял в какой-то неопределенности, не желая ни советовать, ни отговаривать. Ему было жаль любимого ребёнка, который мог здесь прозябать напрасно. Он имел убеждение, что в Кракове из него сделают что-нибудь необычное. С другой стороны, потерять этого ученика, этого любимца, которого сам собственным вдохновением так чудесно вывел из своевольного сорванца, жаль ему было.

Гжесь так красиво писал, а всем почеркам так искусно подражал! Когда пел в костёле, голос имел такой красивый, что волновал до слёз, поднимал душу к молитве.

Отпускать этого бедного ребёнка в свет, на участь, которую Рыба знал лучше всех, потому что сам её испытал в скитаниях по свету, страшно ему было. Очень жаль.

Украдкой вытер старый бакалавр рукавом глаза, но ему пришла мысль, что Бог – отец для сирот...

На лице мальчика после грусти рисовалось такое мужество, такое желание того, что готовило ему будущее, некое предчувствие успеха, что сдерживать его, кто знает, годилось ли.

– Отец! – добавил Стременчик смело. – Я думал всю ночь, молился Господу Богу, просил у Него вдохновения. Это уже решено... Не противьтесь. Иду в свет! Дайте мне благословение за отца.

И он опустился перед ним на колени, хватая за дрожащую руку старика, который, взяв его голову, начал шептать тихую молитву. Поплакали. Говорить больше было не о чем.

Звонили на заутреню, пошли вместе в костёл, но осторожный бакалавр, опасаясь, как бы старый Цедро не пришёл сюда искать сына, спрятал его на хорах и запер дверь.

Гжесь упал на колени, сложил руки и горячо молился.

Мало было набожных на заутрени, только несколько старых кумушек с чётками в руках; мещане к весне имели достаточно дел в полях и садах. Месса уже была на жертвоприношении, когда бакалавр услышал мужские ботинки и широкие шаги, вытянул голову и увидел старого Стременчика, который, идя, оглядывался на все стороны, несомненно, искал сына.

Гжесь пригнулся и спрятался за столб.

Цедро опустился на колени у лавки слушать святую мессу, потому что безбожным не был, но бакалавр легко догадался, что он тут не ради богослужения, но пришёл искать беглого ребёнка.

Едва ксендз перекрестил, когда Рыба, дав знак мальчику оставаться в хорах, сам спустился с них, навязываясь Стременчику, потому что знал, что тот будет его спрашивать. Сам не спрашивая старика, медленно, взяв у двери святой воды, Рыба вышел на кладбище.

Цедро поспешил за ним, его брови были стянуты и лицо хмурое.

– Не знаете о моем Гжесе? – спросил он резко.

– А что? – отпарировал Рыба.

Старику тем временем гнев с кровью бил в голову.

– Убегает от меня, строптивая бестия, ради этой вашей науки, которая ни на что ему не пригодится. Секу его, бью и ничего не помогает...

Бакалавр пожал плечами.

– А я чем могу помочь? – ответил он.

– Вы, – крикнул в гнев Стременчик, поднимая руку вверх, – вы первый ему голову забили этим проклятым алфавитом, а он ему для чего? Клехи из него иметь не хочу, достаточно этих дармоедов! Гм!

Рыба равнодушно слушал.

– Зачем вы его учили? – повторил Цедро.

– Потому что так Господь Бог повелел, – произнес бакалавр, – а я должен слушать Божьи приказания, не ваши угрозы. У ребенка есть охота и способность к науке, разве я не должен был учить его?

– Я лучше знаю, что нужно моему ребёнку, – Стременчик вырывался всё стремительней, – я над ним пан, не вы...

Не желая дольше с ним разговаривать, бакалавр пошёл, повернувшись к школе, и оставил разгневанного старика одного, который плевал и ругался, и в конце концов, когда не с кем было ссориться, был вынужден пойти назад к дому.

По дороге, однако, он свернул к школе, и, не входя в неё, остановившись только у окна, громко закричал:

– Если будете его тут принимать и прятать, школу подожгу... так помоги мне Боже! Рук моих не избежите.

Рыба приблизился к окну.

– Идите с Богом... и не кричите! Замученный ребёнок в свет пошёл... он будет на вашей совести... вы не отцом ему были, а мучителем...

Сказав это, нетерпеливый Рыба отошёл от окна и пошёл запереться в каморке.

Цедро минуту стоял в задумчивости, подёргивая плечами, оглядываясь, не найдётся ли, с кем продолжить ссору, наконец, бормоча, он потащился домой. Он не хотел верить в то, чтобы сын мог от него уйти.

Когда Стременчик был уже вдалеке от костёла, останавливая по дороге знакомых и исповедуя перед ним своё негодование к бакалавру и клехам, Рыба через ризницу вернулся в костёл, вошёл на хор и вызволил оттуда Гжесю.

– Не хочешь вернуться к отцу? – спросил он его.

Мальчик весь затрясся.

– Не могу, – сказал он, – предпочитаю с голоду умереть!!

В свет пойду...

Рыба надолго заумался... Казалось, что и он это решение хвалил, а думал только о средствах, как бы это сделать.

– Старик ещё может тебя здесь искать, – сказал он потихоньку, – поэтому ты должен укрыться, пока я не снабжу тебя на дорогу... Пойдём со мной...

Сказав это, рыба взял Гжесю за руку, оглядел кладбище и быстро проскользнул с ним в школу, но не завёл его в свою комнату.

Слева был запертый склад костельных вещей, которые не могли поместиться при костёле. Стояла там конструкция для украшения на Великую Седмицу гроба, висели праздничные облачения, поломанные хоругви, лестницы от большого катафалка, редко когда используемые, огромные деревянные подсвечники и целые кучи глиняных лампочек, которыми иногда освещали костёл.

Каждый, хотя бы самый храбрый ребёнок, того возраста, что Гжесь, испугался бы этой темной комнаты, грустной и полной могильной угрозы. Рыба вопрошающе на него поглядел,

захочет ли тут укрыться до вечера. Гжесь весело отвечал, потакая головой, и, перекрестившись, смело вошёл, когда ему отворили дверь.

Сквозь одно густо зарешечённое окошко немного света попадало в тёмную комнату, в углах которой были видны зловеще, на чёрных досках, оскаленные зубы, черепа. Гжесь сел у окна, чтобы можно было смотреть на костельный двор и заметить, если бы отец или брат тут его искали.

Он имел уже сильнейшее решение не возвращаться домой, хотя по нему он тосковал.

Молчаливое позволение бакалавра добавило ему отваги. Он сидел тихо, дожидаясь, что с ним решит Рыба. В полдень осторожно отворилась дверь, старик принёс кусочек хлеба и полевку в горшке, оторванную от своих уст, чтобы его покормить, велел Гжесю есть, сам присев на лестницу от катафалка.

– Идти! Идти! – начал он беспокойно бормотать. – Хорошо это говорить, а ты знаешь дорогу? До Кракова далеко... тракт есть, но дорог много, а если заблудишься?..

– Люди говорят, всякая дорога на конце языка, – ответил Гжесь.

Бакалавр посмотрел.

– А что если старик в погоню пойдёт или пошлёт? – спросил он.

– Сам поехать не может, – проговорил мальчик, – послать некого. Подумает, что я уже сегодня сбежал, и догнать меня не сможет, и наконец... наверно, не очень обо мне забеспокоится.

Опираясь на руку, Рабы думал.

– Живчак завтра до наступления дня едет в Дуклю и Старый Сандч за покупками, а вроде бы и в Венгрию. Можно попросить, чтобы тебя посадил на телегу и довёз хоть куда-нибудь, он один едет... Из Сандча до Кракова...

– Справлюсь, – прервал Гжесь смело, – не бойтесь за меня.

– Но захочет ли Живчак, и не испугается ли твоего отца? – добавил Рыба.

Живчак обычно привозил товар из Венгрии, человек смелый, имел вооружённую челядь, потому что в те времена безоружному на трактах, особенно в чужом краю, нельзя было показываться. Знал его Рыба, и решил сразу с ним поговорить; таким образом, закрыв Гжесю снова в комнате, он пошёл в город.

Зажиточный возница имел свой собственный дом в Саноке, и хотя, постоянно толчась по трактам, мало в нём пребывал, считался богачейшим из мещан. Бедный бакалавр для него не много значил, но всегда облачение священника на нём уважали.

Когда Рыба, восхваляя Христа, вошёл в дом, застал Живчака с двумя компаньонами, крестящегося при мёде.

Возница и купец, увидев его, сначала был уверен, что бакалавр, как то несколько раз в год случалось, пришёл, чтобы выпросить себе какой-нибудь кусочек сыра, платя за него пожеланием счастливой дороги и обещанием молиться.

Однако он весело его приветствовал и поставил перед ним кубок. Рыба, приняв мёд, недовольный тем, что застал тут лишних свидетелей, долго сидел молча... Мещане, однако, разошлись.

– Я имею к вам просьбу, пане хозяин, – отозвался бакалавр, пользуясь тем, что остались одни, – но она особенного рода, и сам не знаю, как начать.

Живчак перед ним остановился.

– Говорите-ка, – сказал он коротко.

– Вы понимаете, потому что вы бывалый и мудрый, пан хозяин, – начал бакалавр, лстя Живчаку, – что кого Бог к себе зовёт, тот должен слышать Его голос.

Живчак дал знак головой, что и он так думал, но совсем не понимал, что это могло означать.

– У нас в школе мальчик, которого Господь Бог, видимо, предназначил для своей службы, – продолжал далее Рыба, – а тут упрямый отец не даёт ему учиться... Нет иного способа, только мальчику, который хочет учиться, вымостить дорогу и послать в школу получше, чем наша. В Краков ему нужно, к Панне Марии...

– А чем я могу вам в этом помочь? – спросил удивлённый Живчак.

– Вы, по-видимому, едете в Дукли, а может, и до Старого Сандча, – сказал Рыба.

– Верно! – подтвердил Живчак.

– Тогда бы из любви к Богу могли подвезти бедолагу, – докончил бакалавр, опуская руку к коленям Живчака.

Мещанин был как-то равнодушен, покачивал головой.

– Кто этот ваш мальчик? – спросил он. – У отца его красть... собственное дитя! А если бы так моего кто-нибудь хотел взять!

– Вы бы, наверное, Божьей воле не противились? Потому что вы человек набожный и разумный, и знаете, что не годится.

Живчак по-прежнему крутил головой, не совсем убеждённый.

– Чьей же это мальчик? – спросил он.

Бакалавр ещё колебался с ответом, и добавил:

– Его мучает отец за то, что хочет учиться, а мальчик уже сейчас поёт в хоре и пишет так, как ни один из нас!

– Может, он один у него? – вставил Живчак.

– Двое их у него, – сказал живо Рыба.

Смотрели друг другу в глаза, мещанин не показывал охоты вмешиваться в щекотливое дело.

– Скажите мне, чей мальчик? – спросил повторно Живчак.

– Не выдадите меня всё-таки? – пробубнил бакалавр.

– Разве я такой, что тянет за язык, чтобы продать человека? – огрызнулся обиженный мещанин. – За мной этого нет.

Бакалавр встал с лавки и поцеловал его в плечо.

– Имейте сострадание, – сказал он.

Потом огляделся вокруг и шепнул ему на ухо:

– Старший Стременчика...

Глаза у Живчака засмеялись... предзнаменование было хорошим. Он знал старого Цедро, не один раз с ним ссорился и не мог вынести его шляхетской гордыни, которая перед мещанским богатством головы согнуть не хотела.

– Мальчик Стременчика, – воскликнул он. – Не удивительно, что от него убегает, потому что с этим палачом никто не выдержит. Он разбойник, только счастье, что сил уже не имеет, а то с ним каждый день пришлось бы сражаться. Едет один воз, крытый шкурами, – добавил он, – мальчика в середину прикажу посадить и до Дукли, а может, и до Старого Сандча повезу, но что потом, потому что я в Венгрию вернусь?

Бакалавр аж руки сложил от благодарности и воскликнул:

– Из Сандча пойдёт пешком! Справится... В монастыре его покормят, потому что там панны от дверки никого голодным не отправляют...

Живчак смеялся.

– Поделом старому пану! – добавил он. – Есть нечего, а свою макушку так держит, точно она золотая, и нет других людей на Божьем свете. Все убедятся в этом, когда от него сбежит собственный ребёнок...

– А! – вздохнул Рыба. – Мальчик бы отцовскую строгость перенёс, потому что терпеливый и честный, но хочет учиться, а родитель ему запрещает.

– Да, чтобы сделать из него такого же бездаря, как сам, – крикнул Живчак. – Не умаляю я почтения к шляхте и панам, они всё-таки бьются и защищают нас, и нужны на свете, но и другие люди тоже нужны, хоть землю пашут и товары возят...

– Либо Бога прославляют, – прервал бакалавр.

Живчак склонил голову.

– Значит, мальчика возьмёте? – спросил обрадованный Рыба.

– Почему не взять! – сказал Живчак. – Вы говорите, что это будет во славу Божию... ну, и от палача вызволить тоже заслуга. Только пришлите мне его с утра, потому что я его ждать не думаю. Кому в дорогу, тому пора. Дни становятся жарче, до стоянки нужно по холодку ехать.

– Я вам сам его приведу, – благодаря, добавил уходящий бакалавр.

Потом он поспешил в школу, чтобы и добрую весть принести запертому, и вызволить его из комнаты. Уже не было причины опасаться нападения старого Цедро, поэтому Гжесь перешёл в каморку.

Когда это происходило в школе, Стременчик постоянно ожидал возвращения сына, в его голове не могло уместиться, чтобы ребёнок посмел от него сбежать. Это укрывательство после вчерашнего избиения показалось достойным сурового наказания. Бить его снова он имел отвращение и боялся собственной вспыльчивости, потому что молчаливое терпение ребёнка пробуждало в нём ярость. Решил, поэтому, как только тот появится, посадить его в тёмный погреб на хлеб и воду.

Збилут тоже ждал знака, что Гжесь вернулся. Но оба ждали напрасно и гнев отца всё возрастал.

Пополудни уже вместо того, чтобы закрыть в погребе, он поклялся себе сначала побить его и держать до тех пор, пока не пообещает исправиться.

Вечером беспокойство возросло, Гжесь не было... Даже Збилут к отцу не смел приблизиться.

Надежда на возвращение сына всё ослабевала, старый Цедро то воспламенялся гневом, то упрекал себя. Невольно собирались под веками слёзы. Збилут издали пару раз пробовал что-то шепнуть ему, и не получал ответа. С лицом, обращённым в сторону костёла, Цедро долго стоял, бормоча что-то невразумительное. Наступила ночь. Гжесь не было.

Ложась спать и целуя отцу руку, Збилут хотел что-то поведать о брате, Цедро ударил о пол ногой.

– Слышишь! Чтобы его имени больше мне не решался напоминать!

Юноша на этом выиграл, потому что, будучи у отца единственным ребёнком, тот глаз с него уже ни на минуту не спускал!

## II

Во дворе Стременчиков из оставшихся жителей мало кто уснул этой ночью. Будил малейший шелест, потому что ещё ожидали строптивного ребёнка. Отец вставал несколько раз, подходил к окну и во мраке двора высматривал Гжесю, который уже не должен был здесь показаться. В старой школе под костёлом тоже никто глаз не сомкнул.

Гжесь имел отвагу ребёнка, который ничего не боится, потому что не знает опасности. Его ничуть не волновало, что, выбираясь в долгое путешествие, у него на ногах были старые, потёртые башмаки с верёвками, завязанные на онучках, одна простая рубашка, серый залатанный кубрачок, а для покрытия головы – жалкая шапка, помятая и рваная. Более опытный бакалавр думал уже, стоит ли его так отпускать. На самом деле, уже была весна и жаркие дни, но бедняжка в обносках выглядел скорее на нищего, чем на шляхетского ребёнка, если бы личико, умное и красивое, не платило за всё. Одежды сам Рыба имел так мало, что было нечем поделиться, а от него на Гжесю ничего также не перешло. Кроить и обшивать не было времени. Поэтому о лучшей одежде для дороги нечего было и думать, а мальчик пренебрегал одеждой, лишь бы было чем прикрыться. Он знал, что должен будет нищенствовать, и одежда ему казалась подходящей, потому что могла говорить за него.

Живчак должен был довести его в телеге до Дукли, но о еде речи не было, поэтому следовало обеспечить его какой-нибудь провизией на первые дни.

Немного соли, завязанной в ткань, кромка чёрствого хлеба, отрезанная от булки бакалавра, которую тот отнял от своих уст, кусочек засохшего сыра, которым его снабдили, казались Гжесю предостаточными, и за это благодарил, обрадованный неожиданным запасом.

Ещё у Рыбы была, сохранившаяся с давних времён, как памятка, деревянная мисочка, которую он сам иногда носил у пояса, когда ходил в краковскую школу. Она покоилась на полке, нетронутая и присыпанная пылью. Он снял её, грустно разглядывая, очистил, молча подал Гжесю, которому о будущем её использовании не было нужды объяснять... Был это, может, самый большой подарок со стороны бакалавра, у которого со дней молодости ничего, кроме неё, не оталось.

С такой миской появлялся мальчик у дверей мещан, а милостивые хозяева накладывали в неё каши или булок. Рыба и болтун кантор, ожидая дня, старались предостережениями и разными поучениями приготовить Гжесю к тому, что его ждало в будущем. Оба они прошли те же самые перепетии и черпали из собственного опыта.

Они много рассказывали о своих школьных годах, о жизни бедных студентов и обычаях, к которым нужно было приспособливаться, о попрошайничестве, пении песен под окнами и краже денег у проклятых евреев.

Бакалавр самые большие надежды возлагал на то, что Гжесю долго попрошайничать будет не нужно, потому что не по своему возрасту был склонен к перу, писал очень красиво, искусно подражал разным почеркам, а переписыванием тогда можно было заработать много денег. За простое «Отче наш» платили грош, а за «Донатус» десять грошей. Гжесь же не только красиво копировал, без ошибок, с лёгкостью, но писал быстро и горело у него в руке то, что взял для работы. Кроме этого, его красивый голос и пение, которыми восхищались, могли быть также помощью, потому что набожные песни и иные пел по памяти, брэнчал на цитре, а музыка так его привлекала, что даже, когда его никто не слушал, сам для себя напевал.

Всё это далось ему почти без труда; едва что-либо показали, сам уже потом с лёгкостью учился дальше, а старшие не могли не восхищаться им. Это, может, также делало его гордым, но давало веру в себя и в то мужество, с каким бросился в свет, уверенный, что выплывет.

Более боязливый бакалавр немного попритёр ему рога, приговаривая:

– В Саноке – это не в Кракове... Там и каллиграфов много, и певцов достаточно... Услышишь, увидишь... будет ещё чему поучиться.

Но мальчик от этого не потерял энтузиазма. Верил в то, что с Божьей помощью справится.

Разговаривая так при гаснущей лампаде, которая шипела и брызгала в глиняной мисочке, Рыба всё больше выглядывал в окно, не рассветает ли, чтобы не опоздать к Живчаку. Едва на лестнице начинало сереть, когда, ещё раз подойдя с ним к костельным дверям и опустившись на колени помолиться, Рыба пустыми улочками проводил его к дому мещанина. Было ещё так рано, что даже хозяйки к прятке не встали, всё спало, но у Живчака они застали уже повозки, выкаченные из сараев, а сквозь окна был виден свет в доме. Паробки при лучинах суетились и приготавливали упряжь.

Бакалавр с мальчиком, не желая надоедать, встали смиренно на крыльце и ждали. Затем сам Живчак вышел за чем-то из избы, уже одетый и подпоясанный, как для дороги, а, увидев клеуху и юношу, к которому в утреннем сумраке не мог хорошо присмотреться, привёл их в избу. Там горел камин, а женщина в юбке и платке на голове грела для мужа полевку.

Мещанин быстро поглядел на шляхетского ребёнка, бедно одетого, но поражающего такой красотой, благородством черт и смелой фигурой, что, желая сначала посмеяться над ним, помрачнел.

С лица били разум и мужество, удивительные в подростке.

Живчак обратился к нему, спрашивая, не боиться ли он так один пускаться в свет.

– Бог есть везде, – ответил Гжесь смело. – Если бы я о чём-нибудь плохом думал, боялся бы кары; но, желая работать на славу Божию, не боюсь ничего; а что меня ждёт, приму с покорностью.

Красноречивый ответ замкнул уста мещанину, который посмотрел на ребёнка, пожал плечами, покрутил головой, а бабе своей шепнул, чтобы дала ему кубок гретого пива.

Получил и бакалавр свою порцию, и мог бы, поблагодарив, уйти, но хотел дотянуть до конца, увидеть, как Гжесь сядет в телегу, и попрощаться с ним ещё раз...

Рассвет был всё ярче, возы запрягали как можно быстрее, суета в доме увеличивалась, наступала минута отъезда.

На покрытом шкурами днище повозки вооружённый Живчак, сев спереди, сзади за собой указал место Гжесю, которого так закрыли, что даже, если бы встретили старого Стременчика, догадаться, что Гжесь там, он не мог бы. Гжесь заплакал, прощаясь с бакалавром, залез в угол, и повозки тронулись.

Что в этой молодой голове и сердце делалось, когда мальчик оказался один на тракте, с чужими людьми, на их милости, опьянённый тем, что с ним случилось за эти два дня, один Бог знает... Мысли его путались, он с радостью бы выскочил, вернулся, упал в ноги отцу, то снова дивная надежда толкала в свет, отворяющий перед ним золотые ворота... Да будет воля Божья! Ночь, проведённая без сна, усталость, покачивание воза, к которому не был привыкшим, вскоре навели на него крепкий сон. Он заснул, как юность только спать умеет, и не знал ни где он, ни что с ним делается, когда около полудня разбудил его Живчак, помнивший о том, позвав к своей миске.

Он не начинал с ним разговора, потому что имел много дел и сам за всем приглядывал, более того, и руку прикладывал, но с голоду ему умереть не давал, так что Гжесь свой хлеб и сыр мог сэкономить на дальнейшее путешествие из Старого Сандча. О нём он также постоянно размышлял, пытаясь предвидеть всё, с чем мог столкнуться, и приготовиться к тому, как будет справляться в нужде.

В Дукли Живчак ненадолго задержался, так что любопытный мальчик едва имел время, выбравшись из-под кож, бросить взгляд на Церговую гору и на красивые окрестности.

В местечке, у рынка, где они остановились, царило большое оживление, потому что тракт тогда вёл в Венгрию, торговля с которой в это время шла живо.

Гжесь первый раз увидел там новых людей, языка которых понять не мог, незнакомую одежду и оружие, а их суета показалась ему после спокойного Санока дивной и почти страшной. Что же дальше будет на свете?

Живчак, как все возницы, везущие товар, должен был расспрашивать о тракте, о безопасности, о мостах через реку и бродах, которые иногда в горном краю были непреодолимыми, а мальчик с любопытством прислушивался к ответам.

Также не ускользнуло от его уха, когда купцы, вернувшиеся из Венгрии, рассказывали, как король Владислав Ягайлло именно в эти дни должен был ехать из Венгрии в Краков, вроде бы через Новый Сандч, где хотел видеть недавно возведённый монастырь Норбертанов.

Разглашали также, что от Сигизмунда Люксембургского, с которым он был в приятельских отношениях, он вёз в подарок дорогие для Польши skarбы: старую Болеславовскую корону, Щербец, скипетр и државу, которые после своей коронации забрал король Луи в Буду. А была от этого великая радость, потому что этим драгоценностям, как святым реликвиям, придавали большое значение.

Живчака мало, может, интересовали эти skarбы, которые возвращались в Польшу, а больше то, что приезд короля делал тракты более безопасными и лёгкими.

Гжесь же, узнав о короле, оттого, что был дерзкого ума, сказал себе, что если попадёт в панский двор и обоз, пойдёт за ним тоже. Он не рассчитал того, что пешим за конными поспеть было нелегко.

В Старом Сандче с Живчаком нужно было расстаться.

Гжесь уже к этому готовился, и когда показался замок на холме на стрелке Попрада и Дунайца, он уже только одной ногой был в повозке. До сей поры у него был опекун и кормилец, только теперь начиналось скитание Божьей милостью и собственным разумом... Храбрость, однако, росла. Когда повозка остановилась перед постоялым двором, неподалёку от женского монастыря, в котором мальчик хотел сразу napроситься на отдых, Гжесь живо выскочил и поспешил, покрыв голову, поблагодарить своего опекуна, как обычно бедняк, Богу поручая заплатить за себя.

Живчак, который с большим любопытством рассматривал его издалека, во время дороги полюбил его, похлопал по плечу, а тот покорно поклонился.

– Раз такова воля Божья и твоё предназначение, – сказал он, – иди на здоровье... а имешь хоть пару грошей в сумке на трудное время?

– Ни динара! – рассмеялся Гжесь. – Мне деньги не нужны. В кусочке хлеба люди не откажут, а, добравшись до Кракова, я уже там в безопасности.

Живчак покачал головой, достал из саквы два белых грошика и всунул ему их в руку.

– Пусть Бог ведёт.

Так они расстались. Гжесь, сломав себе на дорогу палку и обтесав её, подумал, что до вечера времени было ещё достаточно, и указанной дорогой, вместо того чтобы пойти в монастырь отдохнуть, сразу двинулся пешком прямо в Новый Сандч.

В его голове постоянно был тот приезд короля, на который он по-детски много рассчитывал. Он думал, что при короле всегда находилось несколько ксендзов и писарей, к которым он хотел попасть. Но эта надежда его обманула.

В Старом Сандче знали только, что ожидали короля, но когда он должен был прибыть, ничего определённого не было, и не знали, направились ли уже становничьи в замок, или нет, потому что те всегда опережали пана.

В путешествии на телеге Живчака мальчику было удобно, всего ему хватало, хозяин кормил, о дороге не нужно было спрашивать, теперь, однако, когда оказался один на свободном тракте, веселей ему сделалось и легче. Мог делать, что хотел, отдыхать, спешить, размышлять и рассматривать окрестности.

Он запел первый раз с выезда из Санока, потому что при Живчаке не смел подать голос.

Красивые холмы вокруг, покрытые весенней зеленью леса и поля, поющие птицы, проходящие люди, которые с интересом к нему приматривались и заговаривали с ним, всё его горячо занимало. Он останавливался, улыбаясь сам себе и чувствуя себя свободным... Он слушал, осматривал и мир на удивление казался ему прекрасным. До сих пор всё у него шло чрезвычайно удачно; побег из дома, дорога в Сандч, опека Живчака, два его грошика, которые казались ему огромным скарбом, надежда встретиться с королевским двором, добавляли отваги и желания.

Если везло до сих пор, почему не должно было везти дальше?

В дополнение к счастливым случайностям он сразу встретил на тракте крестьянина с пустой телегой, который, увидев пешего подростка, сам предложил его подвезти.

Был это кмет, клирик, из деревни, пожалованной Норбертанам, который был предназначен для служения по очереди при костёле и монастыре; он ехал на службу и знал не только окрестности, но и не раз бывал в Величке и Кракове, поэтому от него можно было получить информацию.

Болтливый крестьянин сразу расспросил мальчика, которому не было резона ничего скрывать. Он заверил его, что в монастыре обязательно получит ночлег, потому что ксендзы не отталкивали от двери бедняков, и кормили каждого ради любви Христовой, сами по милости короля будучи хорошо обеспечены.

Так беседуя с клириком, они приехали в местечко, а новые монастырские строения были также видны неподалёку. Около замка на холме, как и на тракте, приближаясь, они заметили много людей, стоящих группами, поэтому не было сомнения, что обещанный король или уже прибыл, или был ожидаем с минуты на минуту.

Это оправдалось, когда подъехали к монастырю, из которого как раз выходило духовенство встречать Ягайлло. Но то, что Гжесь считал удачным, оказалось плохим для него.

Отцы Норбертены и все там живущие так были заняты королём и его приёмом, толпа любопытных из ближайших деревень была так велика, что на бедного сироту никто не смотрел.

Когда его, слезающего с повозки, спихнули с дороги, и он должен был встать в толпу деревенской черни, Гжесь потерял своего возницу, который мог быть ему помощью.

Вознаградилось ему это только тем, что видел проезжающий королевский кортеж и самого пана на прекрасном коне, но в сером кубраке, который странно выглядел среди впечатляющего двора и сверкающих от доспехов рыцарей, так что верить не хотелось, что был королём.

Тут же за ним тянулись большие отряды, разная кавалерия, великолепно убранная, большие гружённые возы и холопские телеги, полные зверья, набитого по дороге, множество коней в пополах, а около них много слуг с обухами и алебардами.

Когда Ягайлло поехал в замок, а люд постепенно начал расплываться, Гжесь подумал о себе, но плестись за кортежем было невозможно, потому что толпу отгоняли слуги, поэтому он попытался попасть в незаконченное аббатство, которое ещё строили. Там бы ему, наверно, в другое время не отказали в гостеприимстве, но сейчас там так было полно тех, кто не мог поместиться в замке, что Гжесь не мог добраться до ворот и должен был идти в местечко, куда-нибудь к мещанину напроситься в сарай на сено.

В этой толкотне с помещением было нелегко; проходя от хаты до хаты, он попал наконец на милосердную душу. Старина мещанин позволил ему переночевать в пустом хлеву. Найдя в углу немного соломы, Гжесь перекрестился, лёг и заснул так, что его только ржание коня белым днём разбудило.

Выйдя из сарая, он застал уже всех на ногах. Побежал как можно скорей умыться в колодце, поблагодарил старика за гостеприимство и, узнав от первого встреченного на улице человека, что король уже выбрался в дальнейший путь в Краков на Величку, не теряя времени, также двинулся в эту сторону.

Только за местечком, пройдя часть дороги, он сел, голод, который дал о себе знать, он удовлетворил хлебом и сыром бакалавра. Первый, который был сухим, когда ему его дали, он бы не откусил, не облив водой, но та, к счастью, нашлась на дороге, и сухарь с солью и сыром хорошо пришёлся по вкусу. Всё-таки их нужно было экономить, потому что он не предвидел, где и как поест, а гроши, которые ему дал Живчак, трогать не хотел. Тем временем солнце начало припекать и, поев немного, Гжесь пустился в дальнейшую дорогу.

В этот день ни одна повозка и милосердная рука не пришли ему на помощь. Должен был идти пешком, напиваясь водой из ручьёв и колодцев, уставший, припадая под ивами и в зарослях у дороги, и так под вечер притащился к костельной деревне, направляясь прямо к дому священника.

Школы тут никакой не было, деревянный костельчик, небольшой, старый, дом священника под соломой, а вместо священника хозяйничал викарий. Тот сначала сурово и жёстко принял бедного мальчика, называя его бродягой и безумной головой, обзывая его бездельником и т. п., но постепенно, выслушав рассудительные и покорные ответы Гжеся, подобрел, отослал его к старой хозяйке на кухню, а та, хоть также жаловалась на дармоедов и нищих, дала немного остывшей каши со шкварками, кромку хлеба и в сарай на сено отправила гостя спать.

Когда с утра костельный дед зазвонил на святую мессу, Гжесь тоже пошёл помолиться, а так как попал на пение розанца, он также возвысил голос. Должно быть, он пел от всего сердца во славу Богу, но и пением он также был рад, может, покрасоваться, потому что знал, что голос имеет особенный, чистый, мягкий, проникновенный. Все поворачивали к нему головы.

После богослужения он уже только хотел попрощаться с викарием, когда тот сам его позвал, похвалил прекрасное пение и потянул за собой в дом. Там он заново начал его расспрашивать, усердней, а когда юноша похвалился, что и неплохо умеет писать, и много молитв в Саноке для ксендза и людей набожных перепереписывал, викарий захотел проверить, задержав его на этот день для отдыха у себя. Гжесь не отпирался, потому что, непривычный ещё, чувствовал себя довольно уставшим, и так в этот день, вместо того чтобы идти дальше, сел для викария на выдранной из агенды бумаге каллиграфировать под диктовку апостольские тексты.

Видимо, ксендз не ожидал найти такой талант в мальчишке, какой показал Гжесь, и письму удивился ещё больше, чем пению. Хотел его, может, дольше держать у себя, при костеле, но мальчик имел сильное решение попасть в Краков; попрощавшись с ксендзем, накормленный, с удвоенной отвагой на следующий день он пустился в дорогу. Викарий милосердно снабдил его свежим хлебом и куском сыра и рассказал ему так хорошо дорогу до Велички, объяснив, где мог остановиться на отдых и ночлег, что Гжесю уже почти никого спрашивать было не нужно.

Так везло путешествующему Гжесю, что сил хватало, разными удачами; первого дня он чувствовал сильную усталость, но, позже набравшись сил и экономя их, холодными утрами выбираясь в дорогу и отдыхая в полдень, уже почти не чувствовал усталости. Ксендзы никогда не отказывали в ночлеге и в кое-какой еде, хоть некоторые пожимали плечами и улыбались этому его путешествию в Краков, не веря, чтобы подросток мог справиться своими силами, среди большого города, в котором легче было испортиться, чем чему-нибудь научиться. Некоторые советовали заняться ремеслом, не зная, что он был шляхтичем, другие отчитывали за непослушание родительской воле.

Так, испробовав слякоть и бури, грязь и пыль, босым, потому что башмаки его не выдержали путешествия и остатки их нужно было сэкономить для города, доплёлся он наконец до Велички.

Он знал, что оттуда уже до Кракова было недалеко. Город обносили стенами, около которого движения было гораздо больше, чем в Дукли, потому что оттуда неустанно во все стороны вывозили соль и прибывали фуры, чтобы забрать её; зажиточность мещан, разнообразие языков, потому что много сновало немцев и евреев, поначалу лишили Гжеся смелости.

Было некуда направиться, мало кто хотел отвечать, каждый тут думал о себе, а город выглядел одной большой ярмаркой. В постоянные дворы, которых тут было много, он не смел заходить, потому что там его бы не приняли, а все также ему казались переполненными, поэтому он направился к костёлу, где наткнулся на молодого викария, который его охотно стал опекать.

У Гжеся было такое счастливое лицо, на нём были написаны такая честность и сообразительность, и хотя мужества ему хватало, воспитанный суровым отцом, он умел быть покорным и уважал старших. Добровольное сиротство и любовь к науке, которая выгнала его из-под домашней кровли, каждого подкупали.

Викарий, расспросив мальчика, отвёл его с собой в избу.

Сам сын бедного солтыса, собственными силами дошедший до рукоположения и капелланства, зная Краков и эту молодёжь, которая тиснулась в его школу, ожидая лучшей судьбы, он не удивился Гжесю, не отбирал у него мужества. Он начал только понемногу расспрашивать, что он знал и какую имел голову, а найдя его расположенным сверх ожидания, предсказывал лучшее будущее.

– Бедность уж придётся перетепеть, – сказал он, – но кому Бог дал терпение и выдержку, удачно выпутается...

Столько повозок с солью каждый день едет из Велички в Краков на склад, что дороги спрашивать не нужно. Следуйте за первым встречным возницей и легко попадёте. Прибыв туда, нужно в костёле Девы Марии спросить бакалавра и магистра, никого там не отталкивают.

Господь Бог милосердный... Если бы у Девы Марии тебя не приняли, кроме этой, есть достаточно школ: у Святой Анны, при костёле Божьего Тела, у Святого Флориана, при госпитале Святого Духа...

Он махнул рукой.

– Правда, и бедных ребят, как ты, достаточно, но одним больше, не объешь краковян.

Викарий был так добр к Гжесю, что дал ему переночевать у себя в избе и накормил, как никто ещё. В Величке повсюду было видно великое благосостояние, мещане, рабочие зажиточно и весело выглядели. Правда, что и в постоянных дворах, и в корчмах было шумно, а на улице до поздней ночи слышались крики и пение. Этому также не нужно было удивляться, потому что туда приезжало столько людей: возниц, черни, силачей, чтобы поднимать тяжести, торговцев, перекупщиков, – что спокойно быть не могло.

На следующее утро, после святой мессы, викарий, жалея Гжеся, обеспечил ему повозку, которая привезла сюда купца из Кракова и так пустой возвращалась. Позволили ему присесть сзади, так, что в этот день он уже надеялся быть в Кракове.

С бьющимся сердцем он ждал только, скоро ли покажется город, о величине которого он столько по дороге наслышался, что равно желал попасть в него, как боялся в нём оказаться.

Только тут должна была решиться его будущая судьба.

Путешествие на телеге было, однако, не таким быстрым, как Гжесь ожидал. Купеческий возница ни одной шинки не пропускал, останавливался перед каждым постоянным двором, садился в нём и пил, когда голодные кони, опустив головы, вместе с мальчиком часами должны были ждать. Правда, что, пьяный, он потом стегал их и торопил, но лишь бы въеха показалась у дороги, наростившие кони и он останавливались.

Наконец Гжесь заметил, что пешком бы скорее дошёл, и предположил, что до столицы, должно быть, недалеко. Поэтому, когда возница, ещё раз остановившись в леске, пошёл на пиво, жалуясь, что была невыносимая духота, мальчик попрощался с ним и двинулся пешим, потому что дольше выдержать не мог.

День был прекрасный и светлый, а солнце уже приближалось к закату, когда Гжесь, слезши с воза, по большому тракту пустился к городу, близость которого уже чувствовалась.

Больше прохожих, всадников, телег, нищих, военных людей, слуг, также всё больше зданий и лачуг у дороги, сам тракт, прорезанный колеями, очень испорченный, объявляли людный город...

Было, на что смотреть, чего слушать, но также чего остерегаться, потому что пьяных и дерзких шлялось множество, и драки также среди дороги он должен был обходить.

Таким образом, по берегу, тропинкой, медленно шёл Гжесь, думая, где провести сегодняшнюю ночь... Околица предместья предсказывала плохое, раз в ней было так густо и людно; что же говорить про сам город?

Думая так и не очень спеша, мальчик шёл шаг за шагом, оглядываясь, не сможет ли кого спросить, когда напротив него показались двое подростков, почти того же возраста. Один из них нёс на спине большую связку разных трав, использование которых Гжесь не мог себе объяснить. Это не было ни сено, каким кормят скот и коней, ни трава, какую хозяева для свинарника под заборами вырезают. Было видно больше цветов, чем листьев.

Другой, идущий рядом, немного постарше, также имел в руках связку травы и накопанных кореньев.

Одежда обоих была почти такой же бедной, как у Гжесь: потёртые кубраки, выцветшие шапки; только оба на ногах имели башмаки, и, должно быть, не чувствовали себя тут чужими, потому что весело и смеясь разговаривали, над проезжающими и проходящими придумывая шутки.

Гжесь, может быть, прошёл бы их, если бы в эти минуты их не стала обременять трава; бросив её на землю, оба прилегли отдохнуть подле неё под кустом.

Мальчик, медленно приближаясь, попал в их поле зрения...

Свой своего легче всего везде разглядит... Деревянная мисочка бакалавра, висящая у ремня Гжесь, была как бы знаком, чтобы его позвать.

Собираясь пройти мимо сидящих, Гжесь с ними поздоровался.

Старший, у которого из глаз смотрело своеволие, веселье и смелость, поднял руку и подзывал его к себе.

– Да ты, – сказал он, – идёшь, наверное, в школу?

– А куда же, если не в неё? – отпарировал Гжесь.

– А всё-таки? Откуда?

– Э! Очень издалека!

– Не из татарщины, верно? – засмеялся старший.

– Из Санюка!

Мальчики переглянулись... Не много думая, Гжесь, вытерев со лба пот, присел к ним. Оба студента осматривали его с ног до головы, потом младший сказал:

– Босой!

– А ты-то в жёлтых башмаках сюда пришёл? – прервал старший и обратился к Гжесю:

– Знаешь хоть алфавит? – спросил он.

– Не бойтесь, я уже и Доната вкусил и из партесов пою, и с пером обхожусь, как надлежит, – сказал Гжесь с некоторой гордостью.

– Да что ты! – рассмеялся старший. – А чему ты думаешь тут учиться?

– Всё же ещё много можно найти, прежде чем стану бакалавром или магистром, – смело ответил Гжесь.

– Хо! Хо! Высоко смотрит босоногий! – сказал другой.

Все смеялись и Гжесь с ними.

– Это Господь Бог мне вас в добрый час вас послал, – произнёс он через мгновение. – Не откажите мне, глупцу, что ни города, ни людей не знает, в помощи и совете.

Старший начал смотреть в его глаза.

– Пойдёшь с нами, – сказал он, – пользы от нас не много, но пёс и мухе рад.

– Пригодитесь мне, лишь бы хотели, на очень многое, – отпарировал Гжесь, – а Бог вам воздаст.

Затем старший взглянул исподлобья.

– Прежде чем Господь Бог рассчитается с нами, если ты нам так велишь подать пива или подпивки, не помешает... Есть за что?

Гжесь сильно зарумянился, потому что лгать не хотел, а единственных грошей, какие у него были от Живчака, ему было очень жаль.

– Всё моё состояние – два гроша в кошельке, – сказал он, вздыхая, – для себя бы к ним не притронулся, наверное, но для вас...

Старший нахмурился.

– За подпивок, это пойло, не заплатишь много, а знакомство облить нужно... Когда придёшь в школу, тебе и так придётся сменить свой скарб и заплатить, чтобы тебя приняли в стадо... Пусть будет тут начало...

Рад не рад Гжесь из узелка у рубашки достал один грошик и старший пошёл с ним в ближайшую шинку за пивом, обещая принести сдачу.

Оставшись один на один с младшим, Стременчик спросил, для чего они собирали траву и куда её несли.

– Не такой это лопух и дряная травка, как тебе кажется, – отвечал мальчик, смеясь. – Знай, что это всё пригодится для лекарств и здоровья человеческого, когда ксендз каноник Вацлав, для которого мы собираем цветы и корешки, приготовит их должным образом. Он показал нам, какие растения ему нужны, и для него мы их выкапывали и собирали. Есть такие, у каких сам цветок велит отрывать, у других корешки выкапывать, у иных одни листья обрывать.

Тут мальчик начал из кучки растений вытаскивать, что нёс, и показывать удивлённому Гжесю.

Тем временем старший, имя которому было Дрышек, вернулся с пивом и деньгами, оставшиеся динары верно отдал Гжесю. Сели пить пиво и разговор продолжился дальше. Поначалу они, уже знающие студенты, пренебрегали этим пришельцем, особенно потому, что он пришёл из столь затерянного края, как Санок, но когда узнали его ближе, старший смог его оценить. Спросили о письме, поэтому Гжесь, не хвастаясь, признался, что на него возлагал большую надежду.

Оба студента, которым письмо было не по вкусу, потому что над ним нужно было долго просиживать, говорили, что ему не завидуют в этом умении.

– То, что ты хорошо пишешь, не открывай; если это правда, что санокское письмо хорошо, то в Кракове также не хуже будет, – сказал старший. – Магистры и бакалавры, когда только узнают, что у тебя резово перо в руке ходит, покоя не дадут, чтобы ты им Донатов и Александров или Присциана переписывал... Замучают тебя у пюпитра и учиться не дадут.

Гжесь на это не отвечал, они не сидел уже долго, потому что наступал вечер; таким образом, допив пиво, которое их подкрепило, забрав траву, пошли они дальше в город. Таким образом, Гжесь попал в него не один и под опекой ровесников, что добавило ему смелости.

Когда наконец показался их глазам Вавель, возвышающихся на высокой горе, башни костёлов, стены города и ворота, и мощные башни, и дома в зелёных садах, широко разбросанные, мальчик не мог удержаться от восклицания, снял шапку, перекрестился и начал молиться.

Его охватил страх...

Сначала Дрышек и Самек над ним смеялись, но и им пришлось в голову, как они первый раз сюда попали, дрожали и плакали, усомнившись в себе...

Большая крепость, которая была перед мальчиком, не шла ни в какое сравнение с тем, что он видел в своей жизни, с бедным Санокком, с городами побольше, Дуклей и Величкой, которые казались маленькими рядом с этим гигантом в каменных доспехах, угрожающий башнями.

Уже издалека этот город громко дышал и, словно уставший, выделял дым и пар... Вечерние колокола отзывались над ним жалобно и весело... Взмывающие в небо колокольни и бышни, казалось, стоят на страже и смотрят вдаль. Тракт под вечер, чем ближе к воротам, тем был более полон.

– Что вы со мной сделаете? – спросил их Гжесь. – Как думаете? Где мне ночлега просить и постоялый двор искать?

– На эту ночь, – сказал Дрышек, – пожалуй, где-нибудь монахи примут, но и у них всегда битком. Я имею угол у мещанина, но там второго места нет, а если бы было, мой старик так сразу незнакомца не впустил бы.

– Я, – сказал Самек, – ночую в каморке у ксендза Вацлава, за что ему должен служить. Тот тоже лишь бы кого не примет, а под ночь разговориться с ним нелегко... Многим студентам негде голову положить, и спят под стенами и в пустых сараях... Весенняя ночь длится недолго, хоть бы ты её где-нибудь на земле провёл.

– А где я вас завтра найду? Я, что не знаю города? – откликнулся Гжесь.

Самек подумал.

– Иди за мной, – сказал он, – на улице св. Анна я знаю площадь, где дом строят. Стоят там доски, опёртые на забор, под которыми на траве как во дворце будешь спать, а завтра я тебя там найду, или ты меня около школы св. Анны.

Разговаривая так, они обогнули ворота и Гжесь оказался на улицах, среди которых и лучше знающему город в сумраке нелегко было ориентироваться. Он бы заблудился, если бы Самек не взял его с собой, но должен был взять на себя коренья и зелень Дрышка и нести их за ним, потому что старший имел приют около Девы Марии у мещанина.

Когда они шли так по улицам всё дальше и вглубь города, Гжесь не мог насмотреться на то, что ему попадалось, и неустанно спрашивал Самека, который, смеясь, объяснял ему каждую вещь, полуправдой, полупутя. От внимательного мальчика ничего не ускользнуло и не было потеряно.

Он много разглядывал и был уверен, что нескольких дней хватит на то, чтобы не чувствовать себя здесь чужим...

По дороге к дому ксендза Вацлава, каноника краковского, Самек показал товарищу тот забор и доски, под которым он должен был спрятаться на ночь... Но случилось иначе.

Накопанные травы и коренья Самек не мог все отнести в каморку каноника, Гжесь нёс их за ним. Жильё ксендза Вацлава было на втором этаже. Они вошли уже на тёмную, неудобную лестницу, не зная которой, Гжесь должен был осторожно ощупывать и хорошо держаться за поручни, когда, услышав беспокойный шелест, вышел со светильником священник.

Он собирался уже, наверное, побранить запоздавшего посланца, когда в то же время на глаза ему попались и травы, ароматический запах которых до него доходил, и красивое лицо незнакомого мальчика с любопытными чёрными глазами.

Он сначала нетерпеливо подошёл к цветам, которые с явной радостью схватил в руки, начал рассказывать, где и как их сложить, потом обратился к Гжесю:

– А ты откуда?

Прежде чем мальчик придумал, что ответить, Самек уже с детской болтливостью рассказывал о встрече на дороге, а ксендз, приблизив светильник к лицу Гжесю, с интересом к нему приглядывался.

– Ну, и что же ты думаешь? Где будешь ночевать? – спросил каноник.

– Под досками, – смело ответил прибывший.

Каноник пожал плечами и повернулся к Самеку.

– Возьми его на этот раз к себе, – сказал он, – места нет, тесно, но его так прочь выбросить не годится, только, чтобы никакого своеволия не было.

Он погрозил пальцем. Гжесь, не бросив своего груза, приблизился, чтобы поцеловать его руку. Отворили дверь каморки, в которой должны были сохнуть растения. Каноник вошёл туда, чтобы проследить за их раскладкой, и рад был, что Гжесь обдуманно помогал в этом. Его, видно, поразила физиономия бродяги, потому что не достаточно, что позволил ему ночевать у себя, но позвал его в свою комнату на допрос. По нему можно было узнать учёного тех времён, когда жадные до знаний люди хватали всё, что могло их привести на дорогу новых открытий, либо для того, чтобы убедиться в правдивости легенд, содержащихся у старинных писателей. Каморка была завалена книжками, разной посудой, костями, остатками животных и неизвестными предметами, которые пробуждали у Гжеся уважение и интерес. Он остановился вдалеке, покорно у порога, сделав большие глаза.

Каноник с заинтересованностью слушал его повесть, хотя похвалить не мог сопротивление родительской воле. Упрекнул за это мальчика больше по обязанности, чем из убеждения.

– Наука, дитя моё, – сказал он в конце, – прекрасная вещь, но *ars longa, vita brevis*, это значит, что для науки жизни не хватит, и не каждому дано пробиться к святыне мудрости, а каждый может и должен быть честным человеком. Да, наука – вещь хорошая, но и плохой быть может, когда опьяняет и в гордость вводит. Иди спать и отдохни, а завтра подумаем о тебе.

Самек почти завидовал, что Гжесю так повезло... Итак, они молча пошли спать, и хотя бедному путнику о чём думать, молодость победила, и, едва оказавшись в кровати, крепко заснул.

Утром разбудил его Самек. Ибо каноник вставал рано...

Гжесь вместе с товарищем пошёл на мессу в костёл Св. Анны.

Там он неожиданно попал в группа своих будущих товарищей, которые также пришли на утреннее богослужение. Он остановился сбоку, не смея к ним присоединиться, а глаза всех направились на него. Он выдержал эти насмешливые и не слишком дружелюбные взгляды.

Он выглядел бедно и рвано, но этого не стыдился. Другие также не лучше были одеты. Многие имели рваные башмаки, залатанные куртки и кубраки, небелённые рубашки и похудевские лица. Почти у всех, однако, из глаз била отвага, примирение со своей судьбой, какая-то уверенность, которой Гжесь не имел ещё.

Во время мессы студенты начали петь благочестивые песни, хорошо известные Гжесю, не считал за грех и он возвысить голос. Быть может, что он и тут рассчитывал на это своё пение, прославленное в Санюке. На него действительно оглядывались, но и другие пели не хуже и опытней, и красивый его голос заглушали.

Этих бедных ребят была приличная кучка, они были такого разного возраста, что у некоторых уже были усы, взрослые стояли рядом с малолетками, которые им не доходили до пояса.

Смелое выражение лица этих старших доказывали, что они тут, должно быть, предводительствуют. Гжесь знал из опыта, что чужаки должны расплачиваться шишками и послушанием, был к этому подготовлен. Впрочем, деньги, полученные от Живчака, были уже на то предназначены, чтобы отворотить первую бурю.

При выходе из костёла студенты его сразу окружили, но Самек им что-то шепнул, и они дали ему вернуться к канонику, который объявил, что поговорит с Гжесем, и отчасти обещал ему свою опеку. Таким образом, этот первый тяжёлый час был отложен.

Ксендз Вацлав возвращался домой, а Гжесь шёл следом за ним.

### III

Добрый час стоял любопытный Самек перед дверью каноника, настораживая уши, чтобы услышать его разговор с Гжесем, но то ли дверь была толстой, то ли голоса слишком тихие, он не много уловил. Беспокоился только о том, что расспрос продолжался слишком долго.

Зная Гжесю и его таланты, легко было угадать причину. Бедняга хвалился письмом, ксендз не хотел верить в этот преждевременный дар лёгкой каллиграфии. Посадил мальчика для испытания, а Гжесь с ним прекрасно справился.

По образцу литер в рукописи, ему показанных, он очень ловко нарисовал их несколько раз, ксендз Вацлав сильно удивился, но не хотел показать мальчику, как его обрадовало это открытие, не хотел вводить в гордость, холодно похвалил. Обещал себе воспользоваться этой особенной одарённостью.

Некоторые ответы на заданные вопросы из Доната и Грамматики доказали если не большие знания, то рассудительность мальчика, которая много обещала. Всё это тянуло каноника взять Гжесю на свою службу, но двоих держать не мог, а Самека прогнать так не хотел, ради собственного удобства.

Таким образом, общими словами рекомендовав мальчику в необходимости обращаться к нему, он отправил его с тем, чтобы держался школы Св. Анны, в другой месте не искал помещения.

– А теперь первое для тебя, – добавил он, – раз ты должен жить на милостыню, – направиться к отцу нищенствующих и сдать под его власть.

Сказав это, каноник открыл дверь и хотел позвать Самека, а это случилось так неожиданно, что мальчик едва смог отскочить от двери, чтобы не быть пойманном на месте преступления. Прибежал испуганный Самек.

– Иди с ним к *Pater mendicantium*, – сказал каноник, – скажи ему, что я его прислал и он должен ходить в школу при соборе Св. Анны. Пусть запишет его и назначит, где ему милостыню собирать.

Получив этот приказ, добавленный проводник вместе с Гжесем сбежал по лестнице с кислой миной.

Он боялся конкурента.

Едва оказались внизу, когда Самек, не выдержав, крикнул, сердясь, вчерашнему приятелю:

– Ты! Подлиза этакий! Уже к канонику подольстился! Но смотри, если он ради тебя меня прогонит, изобьём так, что с жизнью расстанешься! Нечего здесь пастись.

Гжесь слегка побледнел.

– Чего ты от меня хочешь? – сказал он. – Я не думал подлизываться твоему канонику и места твоего не занимаю. В школе для всех его достаточно.

Говоря это, Гжесь хотел его оставить и идти уже один, когда мальчик сдержался и взял его за рукав.

– Пойдём со мной, – добавил он, – каноник велел отвести тебя к патеру, но помни!!

Он погрозил ему.

Того отца нищенствующей молодёжи звали Журавком, жил он с тыла домика на Кнон-ной улице, а был это парень уже взрослый, уса́тый, и не только студенты, но и мещанство его боялось.

В двенадцати тогдашних костельных школах находилось по меньшей мере около тысячи бедных ребят, остающихся под властью патера. Все они были готовы по его кивку, и никто порядка среди этого своевольного сброда сохранить не мог, кроме него.

Он один имел право хлестать, надевать железный ошейник или сажать в карцер, а неправых выгонять из города.

Журавеку, наверное, было лет тридцать, элементарную школу он давно закончил и забыл, чему в ней учился, сам не знал, как во время какой-то разборки на еврейских похоронах получил власть над бедными учениками, а так как был энергичный и суровый, присвоенную власть оставили при нём.

Ходил Журавек, по обычаю века, в одежде клирика, вроде бы духовной, но об этом сане вовсе не думал, не думал и о будущем, потому что ему с тем отцовством убогих очень хорошо было.

Евреи ему платили для мира, чтобы студентам не позволял над ними издеваться, мещане также его угощали, чтобы следил за порядком среди ребят, потому что старшие не раз устраивали драки с ремесленной челядью и один Журавек мог их в дисциплине и кулаке, как говорил, удержать.

Хоть он ходил в чёрном убранстве клирика, фигуру имел вовсе не духовную и больше выглядел слугой или городским чиновником.

Учащимся было не разрешено носить какое-либо оружие, и духовному облачению оно не подобало, но смотрели сквозь пальцы на то, что Журавек всегда ходил с обушком либо даже кордом под полой. Они были ему нужны, потому что поссорившихся часто голыми руками разорвать было нельзя, нужно было бить палкой либо мечом плашмя.

Широкоплечий, высокий, костистый, с низким лбом, с впавшими глазами, с лицом всегда нахмуренным и насупленным, Журавек нагонял на детей страх. Голос также имел такой, что, когда кричал на рынке, его почти у Флорианских ворот было слышно.

Он ходил важно, не спеша, но, имея длинные ноги, всегда догонял того, кого схватить было нужно.

Где подкреплялся и чего одевал, знал только он один, не столовался нигде, а голодным не был, а пива, которое любил, хватало. Кормили его и поили все, начиная от евреев до духовенства.

С подчинённой ему молодёжью он обходился не мягко, утверждая, что эти вши (так неприлично выражался), съели бы его, если бы их не кормил. Доброго слова он не сказал никогда никому, а редко, какие волосы и уши остались перед ним целы.

Его принцип состоял в том, что надо было при первой встрече вызвать страх, потому что иначе послушания удержать нельзя. Не делал никому поблажки, и знали, что с ним не до шуток. Самек не предостерегал Гжеся о том, что ждало его у Журавка, уже был зол на него и желал ему, что миновать не могло: чтобы патер поставил его на место.

Они входили в Канонну, когда Самек заметил выходящего из своей каменицы Журавка, с румяным лицом и обухом в руке.

Поэтому он побежал вперёд, чтобы выполнить посольство каноника, и, показав Гжесю патра, сам дал стрекоча.

Журавек стоял хмурый, ожидая обещанного студента, начал строго его расспрашивать. Гжесь, хоть встревожился, не чувствовал себя виноватым, отвечал смело, патер ещё сильнее насупился, слушая.

– Кто не слушает отца, мать, должен слушать бычьью кожу! – воскликнул наконец Журавек. – Понимаешь ты это?

Гм? Ты сбежал от отцовского ремня, но у меня также есть дисциплина и я не жалею её! Мальчик молчал, опустив глаза...

Последовали вопросы и ответы, принимаемые насмешливо, и после повторяемые угрозы... В конце, побранив Гжеся без вины, Журавек повёл его за собой, чтобы указать ему те дома и улицы, на которых разрешено было просить милостыню.

– А если тебя где-нибудь в другом месте поймают мои старые студенты, – добавил он, – такие получишь побои, что до судного дня будешь помнить.

Обхождение было такое суровое, что встревоженный Гжесь онемел.

Бороться с голодом и недостатком он готов был всегда, но со злой волей не имел силы.

Журавек, не в силах добиться от него ни слова, заметил, что испугал мальчика достаточно, забормотал что-то ещё, погрозил и с ворчанием его отправил.

Гжесь стоял ещё на месте, на котором его бросил патер, когда ему по счастливой случайности навязался вчерашний Дрышек, который ничего о его судьбе не знал. Он сразу его узнал, а вероятно, вчерашнее пиво дружески его к нему расположило.

– Как у тебя дела? – спросил он.

Гжесь начал ему рассказывать.

Он не скрывал того, что много потерял из вчерашней отваги, и хотя каноник снисходительно его принял, патер за Божье создание его не считал.

Дрышек рассмеялся, пожав плечами.

– Не бойся, – сказал он, – он больше бурчит, чем кусает, а лишь бы ты со студентами познакомился и с ними держался, не сделает тебе ничего. Что иногда за волосы схватит, либо за ухо покрутит, это у нас хлеб насущный, от этого люди не умирают.

Дрышек сразу предложить помочь познакомиться со старшими студентами костёла Св. Анны.

Обычай и у бедных студентов уже в то время в подражание традициям высших школ, хоть тайно и украдкой, каждого нового пришельца вынуждали откупиться от пыток, которые под предлогом обтёсывания неучей устраивали новичкам.

Бедные студенты имели даже такую гостиницу, в которой жертвенным козлам, прибывшим, отпиливали рога и отрезали нескладные брусья, чтобы приобрели хорошие манеры.

В Гжесе объявление об этих обрядах пробуждало страх и отвращение. Он начал упрашивать Дрышека и готов был все деньги отдать ему на угощение, лишь бы избавиться от отпиливания и обтёсывания.

Мальчик, взяв деньги, придал ему смелости, сказав, что не даст его обидеть, и всё пройдёт легко.

Очищение должно было пройти вечером... Ещё нужно было идти к прецептру (учителю) нищенствующих и этому также представиться. Дрышек указал место и час. Они расстались, откладывая на вечер вторую встречу.

Несчастный, голодный, уставший, Гжесь в конце концов должен был подумать о себе, и, наткнувшись на то схоронение под досками, съел там остатки хлеба и сыра.

Усевшись там, он грустно задумался; та жизнь, которую желал, начиналась сурово и грозно. На самом деле, было это только начало, но оно не пророчило лёгкого пути.

Отступать уже было не время...

Он чувствовал, что в Самек уже стал его врагом, а ужас, какой пробуждал отец, тут чужой пробуждал в нём. Он помолился, вытер слёзы, посидел в укрытии и в конце концов из него выбрался.

Ещё в этот день ему предстояло познакомиться в гостинице с товарищами и зачислиться в эту группу, послушной частью которой должен был быть.

Дрышек был ему немалой помощью. Он устроил так, чтобы старшим больше осталось пива, что младших в гостиницу не звали. Окончилось несколькими толчками, лукавыми вопросами, лекцией о том, как нужно было держаться группы, и хоть бы тебя жарили и варили в смоле, никому не говорить, что делалось в школе. Пиво и братские поцелуи dokonчили обряд, после которого Гжесь вздохнул свободней.

Самек, который не появился на очищении, добавил от себя предостережение, что если бы, упаси Боже, подлизывался к канонику и выгнал его из каморки, пусть лучше потом выезжает из города.

Гжесь как-то почувствовал себя смелей.

– Слушай-ка, – сказал он, – я к ксендзу канонику сам не напрашивался. Ты привёл меня к нему... Не буду утаивать, что он велел мне показать, как я пишу, и почерк ему понравился. Если он мне потом за опеку надо мной прикажет переписывать, разве я буду в этом виноват?

– А я тебе только то скажу, слышишь, – прервал Самек, – что если он меня выпихнет, я на твоей спине буду искать мою потерю!

Гжесь молчал.

– Не пойду к нему, пожалуй, пока сам меня не позовёт, – сказал он через минуту.

Старшие спросили о чём-то другом, а Самек, бормоча, пошёл в угол. До сих пор Гжесь не думал о ночлеге; или снова под доски влезть, или куда-нибудь под паперть втиснуться казалось ему лёгким. Тем временем подошёл час просить вечернюю милостыню, голод докучал, и нужно было первый раз идти от двери до двери с мисочкой.

Дома были ему указаны, он хорошо их помнил, но кто в них жил, и какой его там, незнакомца, ждал приём? Только Бог знал.

С бьющимся сердцем, отстегнув свою мисочку от пояса, он постучал в дверь первого дома... но так робко, что никто его не услышал, долго ждал, второй раз ударить не смел, и ушёл с пустой миской.

На пороге другого дома стояла, смотря на это, женщина средних лет, держа за руку маленькую девочку.

Мещанка была нарядная, пышная, белая, в блестящем чёлке на голове, в свежей шали, с ясным и весёлым лицом. Девочка, быть может, восьми лет, похожая на неё, смеющаяся, топаящая ножками, также ярко наряженная, вместе с матерью издалека глядела на Гжесь, и когда он в свою очередь приблизился к ним, снимая шапку и показывая пустую мисочку, женщина наклонилась к нему, потому что стояла на высокой ступеньке, и, желая лучше к нему присмотреться, взяла его за подбородок.

Красивое личико мальчика с чёрными глазами поразило её и пробудило сострадание.

Прежде чем он отозвался, она начала говорить живо ломаным языком, по чему Гжесь понял, что она была родом немка.

– А ты откуда? Ещё никогда тебя тут не было...

Маленькая девочка, смеясь, дерзкая шалунья, тоже приблизилась к Гжесю и, подражая матери, пухленькой лапкой схватила его за подбородок. Мальчик, увидев эту белую ручку ребёнка тут же у своих губ, поцеловал её, что вызвало в девочки громкий смех.

Глаза матери засветились.

– Кто же ты? Говори!

Прежде чем Гжесь нашёл, что ответить, мещанка, подумав, кивнула ему и повела за собой в дом. Удивительно красиво и чисто показалось там Гжесю. В комнате, в которую вошли из сеней, светились дерево и латунь, олово и стекло, как бы только что вышли из рук мастера. Какой-то здоровый и приятный аромат наполнял помещение.

В нескольких словах, начиная с поклона, мальчик начал рассказывать о себе. Не замечал он того, что на лавке в углу, над приличной кружкой, опираясь на оба локтя, сидел молча мужчина и тоже прислушивался к рассказу.

Гжесь не помнил собственной матери, женщин видел мало, и то таких, которые не любили детей и строго с ними обращались; мягкий голос и выражение лица матери и ребёнка отворили ему сердце, изъяли из него чувства и слова совершенно отличные от тех, которыми объяснялся с другими людьми. Он пожаловался на свою долю.

Он был один, над ним Господь Бог на небе, на ночь не имел крыши над головой, хлеб должен был выпрашивать у милосердных людей.

Мещанка слушала, даже девочка, казалось, его понимает и сострадает ему. Более того, сидящий над кружкой полный мужчина дивно забормотал и произносил что-то непонятное.

Гжесь ещё стоял со своей мещанкой, когда позвали слуг.

Девочка отошла от матери и, спеша, побежала и принесла горшочек, из которого, велев сесть на лавку, дали мальчику есть клёчки с молоком, которые ему очень понравились. Мать, ребёнок и толстый мужчина, сидящий в шапке за столом, с какой-то радостью присматривались к кушающему мальчику.

Мещанка постоянно его спрашивала, а осмелевший Гжесь весело рассказывал о себе. Девочка, не очень говорившая по-польски, иногда спрашивала мать объяснить то, что мальчик говорил о себе.

Всем явно было жаль бедного. Когда дошло до вопроса о ночлеге и Гжесь начал рассказывать о своём приюте под досками, мещанка заломила белые руки, а толстый молчаливый человек из-за стола что-то по-немецки забормотал и, казалось, советовался с женщиной.

Наконец Гжесь доел и, красиво поклонившись, хотел поцеловать женщине руку, когда та его остановила.

– Не может быть, чтобы ты так на дворе спал, – сказала она. – Господь Бог тебя к нам прислал, нужно тебе помочь.

У нас есть пустая каморка, где можешь переспать, пока не найдёшь себе места получше.

Мальчик не знал, как благодарить. О нём сразу позаботились. Девочка также, а может, больше, чем мать. Его проводили в ту каморку в тыльной части дома, в которой стояло несколько пустых бочек, и кнехт немец, приземистый, карликовый, постелил ему в углу соломы.

Комнатка была, правда, темноватая, с одним маленьким окошком за частой решёткой, без двери, но воздух был мягкий и для спальни угла получше не мог мальчик пожелать.

Поэтому он благодарил Бога.

Сон наступил быстро, и хотя с ним прилетели также дивные сны, в которых его донимали студенты, Гжесь проспал до утра, и как только во дворе началось движение, был на ногах.

Старая служанка, увидев, что он входит, по поручению своей госпожи дала ему ещё кусочек хлеба с сыром, и напомнила, чтобы смело приходил на ночь.

В костёле Св. Анны Гжесь не застал ещё никого, кроме дедов, которые подметали и наводили порядок, поэтому он терпеливо ждал на пороге. Позвонили на мессу и начали появляться дети; хотя он уже вчера был принят в группу, не обошлось без задеваний и колкостей, без вопросов и смеха. Краковским бедным студентам этот бродяга из Санок казался босяком и неучем. Поэтому над ним издевался, что он терпеливо сносил.

Он встал уже на святую мессу в шеренгу с другими, но в конце, как пришедший позже всех, с малолетками, которые были не более сострадательные, чем старшие.

С мессы все пошли прямо в школу, которая была разделена на несколько частей, а Гжесь едва принял в самую последнюю.

Вошёл с тростью учитель, увядший старина, со стиснутым беззубым ртом и впалыми щеками. Сосновая кафедра с пюпитром, на которой он сидел, была так установлена, что по обеим её сторонам размещались лавочки, а на них студенты. Гжесь едва втиснулся на последнюю. Учёба началась с молитвы, после которой, бросив взгляд на учеников, старый сениор Бласиуш увидел незнакомого Гжесь. Его вызвали на середину. Товарищи готовились высмеять неуча, но саночанин вышел смело.

Тогда Бласиуш, велев ему подойти ближе, начал расспрашивать. Сначала оказалось, что мальчик умел читать и писать лучше, чем кто-либо здесь ожидал. Дошло потом до Доната и

Пристиана, которых Гжесь уже несколько раз переписывал и знал *expedite*, и из грамматики вышел победителем.

Сильное удивлением выразилось понурым молчанием. Сениор ещё сильнее закусил губы. Дистихи Катона, которыми мальчик предложил порисоваться, окончательно пришибли его товарищей.

Нельзя было сказать иначе, только то, что для своего возраста бедный Стременчик был чудесным ребёнком. В ребятах пробудилась зависть, они готовились высмеять его.

Только учитель не показал по себе удивления; проэкзаменировав мальчика, он велел ему сесть и, поглядывая на него с интересом издалека, взялся за других. Гжесь был настолько сдержан, что вовсе не показал гордость от победы, а на лекции сениора внимательно наострил уши. Этим заручился его поддержкой.

Час учёбы прошёл с обычными эпизодами наказаний, отчитывания и повторяемых лекций, а когда дети собирались расходиться, Бласиуш дал знак Гжесю задержаться. Погладил его по голове, похвалил, и отправил с тем, что обдумает назавтра, где его посадит, и чего ему велит учить.

Когда Гжесь вышел, стоявшая на дворе толпа уже иначе его приветствовала. Не насмеялись над ним, но явно ему завидовали. Самек косо на него посмотрел.

Он имел поручение от каноника Вацлава привести его с собой к нему. Теперь уже не угрожал ему, только кисло и вздыхая он роптал на свою судьбу, будучи в постоянном страхе, как бы его пришелец не вытеснил его из каморки каноника.

Мальчик его успокоил, как мог и умел, заверяя, что ничьим уроном не хотел бы воспользоваться, и занять его место. В приюте он также уже не нуждался, потому что ему его Провидение чудесным образом обеспечило.

Ксендз Вацлав принял его с большой добротой, расспрашивая о школе и каковы были его успехи. Гжесь был очень смел с добрым старым ксендзем и рассказал ему всё, что с ним приключилось, а каноник всё время только повторял:

– Господа Бога благодари, Господа Бога благодари, а гордость не подпускай к себе.

Поскольку вчерашняя проверка письма получилась такой удивительной, что каноник не хотел верить в необычайную каллиграфию ребёнка, в этот раз уже приговорил бумагу, чернила, перья, образец и, встав за Гжесем, велел ему на своих глазах переписывать молитву, привезённую неким путником из Иерусалима.

Она не была длинной, но тот, что её каллиграфировал умелой рукой, не жалея чернил, хвастаясь различными выкрутасами, делал её как бы картинкой для демонстрации.

Гжесь такой элегантности отродясь не видел, долго сначала присматривался, но в себе не сомневался. Взялся сначала за столбцы, которые облегчали написание, потом слегка обозначил места, которые нужно было оставить для красных литер, наконец, перекрестившись, сел за работу.

Рукопись была довольно старая, поэтому тем более отчётливая, потому что в XV веке уже писали менее красиво и не так отчётливо, а сокращения прибавлялись. Поэтому Гжесю легко удалось повторить, что имел перед собой. Этого было вместе около десятка недлинных виршей. Около Амен пишущий наплёл линий, будто бы подражая веткам с листьями, что могло показаться самым трудным, а Гжесь и из этого вышел победителем, потом, взяв красные чернила, очень ловко подписывал красные линии.

Каноник, смотря, держался за бока, зажмурил глаза и бормотал:

– Хват! Ловок!

Затем он вдруг спросил:

– Много тебе лет?

– Двенадцать полных.

– *Mirabile!* – забормотал ксендз Вацлав, беря в руки молитву. – Учись, учись, хлеб иметь будешь.

Он не смел его сразу за работу запрячь, но за молитву дал ему несколько монет и велел давать знать о себе.

– Учи латынь, – добавил он, – будешь человеком!

Изба ксендза Вацлава была полна рукописей, поэтому он взялся показывать их Гжесю, одну за другой, всё более красивые, побуждая и его стремиться к такому превосходству.

Но тут уже были и такие, за которые мальчик вовсе не мог браться, потому что и первые их страницы, и заглавия, и корочки были чудесно разрисованы красками, как бы в живые цветы, а большие литеры были так искусно построены, что в них размещались целые картинки... Бога Отца со Святым Духом, держащего сыновний крест на лоне, Благовещение Богородицы, Успение, Сошествие Святого Духа и т. п.

Гжесь восхищался тем искусством, с каким миниатюристы всё это так красиво умели помещать в маленьких размерах, придавая жизнь мелким фигурам. Кроме того, не меньше было мастерства в золочении и раскраске цветов и таких животных, каких живых никогда человеческий глаз не видел.

Из этой красоты Гжесь только понял, как много ему не хватало, чтобы мог называться каллиграфом, и даже в душе должен был признаться, что так рисовать никогда не сможет.

Это, однако, не оттолкнуло его от работы. Так этот день прошел частью у каноника, потом со студентами, у Самека, а когда приближался вечер, хоть с некоторой тревогой, побрёл Гжесь к дому немца.

Он знал уже, что его звали Бальцером, что считался богатым, а люди о нём говорили хорошо. Он торговал локтёвыми товарами, имел магазин на Сукенницах и был выбран членом городского самоуправления. Несмотря на то, что был немцем, Бальцер, давно тут поселившись, привязался к стране, а жена и единственная дочка научились немного говорить по-польски.

Он стоял за то, чтобы овладеть языком, и сам говорил на ломаном польском.

Гжесь ещё был далеко от дома Бальцера, когда заметил, что девочка выглядывала из двери на улицу, точно его ожидала. Узнав, она побежала к матери, и когда он появился на пороге, сама уже подняла горшочек, прикрытый хлебом, улыбаясь ему.

Бальцера, который вчера сидел за столом, в этот день не было, только жена и слуги. В то время, когда студент ел, маленькая Лена встала возле него, опёрлась на лавку и заговаривала с ним, пока не начал с ней беседу.

Ребёнок был такой же умный, как и красивый, весёлый, смелый и говорливый. Он щебетал по-польски не хуже матери и этим языком рисовался перед Гжесем. Мальчик должен был из соображений матери развлекать её, пока не сделалось темно и вернулся Бальцер, а ему позволили уйти в каморку.

Такое было начало студенческой жизни Стременчика.

Чрезвычайные способности очень скоро позволили ему отличиться и занять место в школе среди самых старших, и быть даже помощью учителям. Ему предсказывали большое будущее, тем паче, что был смиренным и городость не проявлял.

Он очень хорошо чувствовал, что ему оставалось выпить целое море науки, что стоял только у берегов. Он достигал мыслью до тех вершин, которых хотел добиться. Ребята, что ему завидовали в начале, посмеивались и были рады вредить, прибежали теперь к его помощи, в которой он им не отказывал. Однако мало кто из них был ему благодарен, был он у них солью в глазах, потому что сениоры другим на него указывали и хвалили.

Хоть он не хотел быть бременем для Бальцеров, так сложилось, что уйти ему уже не дали. Старику он писал счета, а Ленка выпросила, чтобы учил её польскому, чего хотели и мать, и отец. Каморку очистили от бочек, приделали к ней ставни и из неё вышла неплохая комнатка, в которой нашлись стол и лавка.

Ксендз-каноник Вацлав, пользуясь также Гжесем, которого очень полюбил, дал ему старую рубашку и поношенную одежду, которую портной переделал в такую красивую, что ей студенты завидовали.

Бальцера и Ленка втыкали ему разные лоскуты, украшая его, и всё больше к нему привязывались. Гжесь ещё учил дочку подле матери польскому языку, а оказалось, что сам неожиданно этим воспользовался, потому что, помимо своей воли и ведома, начал лопотать по-немецки. У него была отличная память и лёгкость восприятия, так что не прошло и года, а уже мог разговаривать по-немецки.

С латинским также шло бойко и, пройдя дистихи Катона, дальше уже Гжесь начал вкушать риторику, делая в ней быстрый прогресс. В пении, для которого имел голос и особенный слух, он преуспел среди студентов и оставался при канторе, муштруя младших.

И там удивлялись и любовались его дискантом, когда при цитре пел песни.

Год пролетел как молния... не изменилось ничего, кроме того, что Гжесь стал более уверенным в себе, а того, чему он жадно учился, не хватало ему. Он хотел бы побыстрее пройти это расстояние, которое другие кропотливо проходили, но учителя сами сдерживали его и тормозили эту юношескую прыть.

Рос мальчик также как на дрожжах, а что у других годы часто отнимают детскую красоту и из красивых подростков делают обычных людей, ему возраст помогал и для удивительно прекрасного развития. Это вовсе не вредило, потому что эта брэнная телесная красота, хоть длится столько же, сколько цветок, и немного, кажется, значит, всё-таки сердца и глаза похищает, приобретает уважение, предупреждает хорошее и помогает в жизни.

Гжесь становился всё более красивым, а лицо, тёмные глаза которого смотрели разумом, имело какое-то очарование, силе которого никто сопротивляться не мог. Баловали его у Бальцеров, любили везде, приглашали с цитрой на застолья, чтобы пел, охотно одаривали. Всего ему было вдоволь.

Особенно мещанин, жена его и Ленка привязались к студенту так, что он стал их домохладцем и точно принадлежал к семье.

Деревянную мисочку Рыбы он мог поставить на полку, потому что в ней вовсе не нуждался. Как-то невзначай дошло до того, что ему за столом сохранили место, а когда запаздывал, оставляли еду.

У ксендза Вацлава он всегда проводил какой-нибудь час за пюпитром, что-нибудь ему переписывая, поэтому он привыкал к всё более новым почеркам, приобрёл ещё больше опыта и не только копировал то, что ему дали, но стал так подражать почеркам, что его текст от оригинала отличить было невозможно.

Упёршись, даже трудные и заковыристые нотариальные знаки в документах он так переписывал, что те, что их ставили, со страхом разглядывали их копии и криво смотрели на мальчика, который, если бы не печати, каждый акт мог так подделать, что самый опытный глаз фальшивку бы не открыл.

Гжесь, однако, вовсе о плохом не думал и показывал это искусство только, чтобы пошеголять.

На второй год мальчик снова значительно подрос, возмужал, а так как постоянно общался с ксендзем Вацлавом и с любопытством прислушивался к каждому его слову, подхватывал от него много информации, которая тогда мало кому была известна. Учил свойства растений, камней, особенных творений природы и мира зверей, которые его очень интересовали.

Само переписывание, когда с латынью всё больше осваивался, шло ему на пользу, потому что, хоть не всё понимал, когда просил ксендза объяснить, каноник охотно это делал, и ему было приятно видеть этот интерес студента.

Но ксендз Вацлав также привил ему то, что природа полна неразгаданных таин, и что человек в её великой, живой книге едва учился читать, столько там было закрытых вещей, которых никогда, может, разумом своим разгадать не сумеют.

Иногда, когда старина разговорился и был в настроении, начинал рассказывать Гжесю о тех чудесах, какие в те века появлялись в книгах и преданиях, переданные как правда.

Таким образом, драконы, грифы, василиск, иные сказочные создания, дивные свойства камней, существа, появляющиеся спонтанно, возраждающиеся из пепла, как феникс, мелькали в этих рассказах, как поэма, перед заслушившимся повестями старика Гжесем. Этот мир чрезвычайно манил его, но знал, что он был доступен не всем, и что эти тайны только избранным открывались. Ему сперва нужны были те крылья, которые должны были поднять его туда, откуда он мог осмотреть далёкие горизонты. Проблема языков была самой первой и самой трудной. Научившись понимать одного старинного писателя, освоившись с его речью, Гжесь заметил, что, когда потом взял в руки незнакомого автора, заново должен был привыкать к его языку... Грамматика, что должна была отворять все ворота, довела только до порога, Доната, Александра и Присциана не хватило ему...

Но голова у мальчика открывалась, и чем больше он учился, тем более становился жадным до знаний.

Каноник смотрел на него с радостью и тревогой.

При таких способностях и такой жажде знаний казалось несомненным, что мальчик не мог быть предназначен для другого сословия, кроме духовного.

Мирыне в деятельной жизни, которая шла пробитыми путями, в науке в целом не нуждались. Была она исключительной монополией духовенства. Не подлежало сомнению, что этот Гжесь должен был в конце концов стать ксендзем, но каноник, спрашивая его о призвании, до сих не мог в нём открыть ни мысли, ни особенного желанья облачиться в духовную одежду.

Гжесь как-то о будущем в целом не думал, и когда другие учились для того, чтобы его себе обеспечить, он учился ради науки. В бедном мальчишке было это тем более странным...

В начале по прибытии в Краков ни один раз мысль Стременчика обращалась к дому в Саноке, к отцу и брату. Хоть там с ним обходились бесчеловечно, немного сердца прильнуло к колыбеле. Постепенно, однако, воспоминания стерались, он привязывался к этому городу, в котором легко было черпать науку.

Но и остальной свет его манил.

В доме Бальцеров наслушался он много о Германии, о городах, в которых были накоплены и богатства великие, и сокровища науки. Прибывали сюда люди издалека, прилетали повести со всего мира... Тут он услышал об Италии, в которую ездили на учёбу и из Польши, о странах на востоке, из которых в Польшу привозили такие красивые и искусные изделия, какие никто делать не умел.

Таким образом, у него появилось представление об этих неизвестных краях и горячее желание их узнать. Храбрости броситься в путешествие было ему не занимать. Он скрывал эту мысль от всех, потому что его наверняка бы перекричали, что рвался неразумно за горы, когда в доме, в Кракове, была открыта Коллегия, в которой давали лекции по всевозможным наукам, и где можно было стать бакалавром, магистром и даже доктором, так что и чужих хватало, что из этих источников черпали.

Знал это Гжесь, а всё-таки мысль о поездке его соблазняла.

У Бальцеров часто вели беседу о том, как в Германии в поисках разных учителей молодёжь скиталась из города в город, от каждого из них учась чему-то новому. Германия была полна тогда этих убогих путников, которых называли вагантами, а так как не все трезво жили, их также насмешливо именовали вакхантами.

Не знал он, что значительнейшая часть этих пилигримов, которым не хватало степенности и настоящей любви к науке, волочилась от калитки до калитки, от постоялого двора к

постоялому двору ради хлеба, выкрадывая по дороге гусей и пользуясь страхом мещан и крестьян, леча и отводя любовные чары. Ему казалось, что их гнала в свет такая же жажда знаний, какую он сам чувствовал в себе.

В этой великой охоте выскочить в свет он не перед кем не признавался, хотя питал её в себе. С этой целью он также воспользовался пребыванием в доме Бальцеров, всё старательней изучая немецкий язык, который должен был ему служить за Эльбой.

Своим хозяевам он даже не открыл жажды, которая охватила его ум.

Уже три года прошло с прибытия Стременчика в Краков; давно окончив школу тривиума, Гжесь, учился уже дополнительно тут и там, заглядывая всюду, куда мог, и приготавливая себе запас на дорогу.

В пятнадцать лет у него преждевременно начали появляться усы, он вырос, похорошел, набрался сил, а ничего на будущее не решил до сих пор, кроме того, что науки должен был где-нибудь дальше искать, чтобы принести её домой.

Однако, сбежать, не сказав никому, не годилось. Товарищам, которые всегда поглядывали на него завистливыми глазами, не было необходимости объявлять то, что хотел предпринять, но так оставить Бальцеров, бросить каноника благодарное сердце не позволяло.

К своей хозяйке, которая была очень добра с ним и любила его почти как собственного ребёнка, он привязался равно, как к старому Бальцеру, а больше всех к двенадцатилетней девочке Лене. Ребёнок чудесно расцветал и развивался на его глазах, а родители утверждали, что Гжесь внёс свою лепту для усвоения той науки, которая была нужна женщине для её жизни.

От него она приобретала навыки польской речи, он учил её игре на цитре и пению, ему она была обязана тем, что отцу могла помогать в расчетах, и даже что-нибудь записать за него. Девушка была чрезвычайно смыслёной, учитель – внимательный и сердечный, Ленка также не нуждалась в большем, потому что женщины тогда ограничивались малым; естественный ум, остроумие, догадливость из того зерна, которое им дали, сделали остальное.

Покинуть этот дом и свою ученицу, которая была к нему привязана, было Грегору тяжело... но та же жажда, что выгнала его из Санока, толкала дальше в свет, обещая золотые горы...

Прожив тут три года, многим воспользовавшись, он решил отправиться в путешествие. Эту мысль он сперва доверил канонику Вацлаву, который принял неожиданную новость недолгим молчанием.

Если бы мог, он, верно, задержал бы его, но совесть делала ему упрёки; он говорил себе в духе, что предназначением мальчика было искать мудрости, что внутренний голос в нём был признаком призвания.

Его глаза невольно увлажнились, он не сказал ни слова, приблизился к Гжесю, взял его за голову и поцеловал в лоб.

Мальчик припал к его коленям.

– Если чувствуешь в этом волю Божью, иди, – сказал он. – Жаль мне тебя, но кто знает? Может, это путешествие будет успешным и ты из него вернёшься, чтобы быть нашей гордостью и украшением.

Труднее далось Гжесю признаться в своём замысле Бальцерам. Сначала тихо поведал о том самой женщине. Бальцера она очень любила, но своего ребёнка ещё больше, и опасалась, может, всё более отчётливо объявляющей себя привязанности бедного мальчика к своей единственной дочери.

Поэтому она не очень сопротивлялась. Только её доброта показалась в материнском радении о сборах в путешествие, в которое Гжесю хотели отправить обеспеченным всем, что могло бы его облегчить.

Перед Леной долго скрывали, что молодой учитель и товарищ хотел её бросить. Однажды вечером они стояли в дверях со стороны улицы, разговаривая и смеясь, когда Гжесь, поглядев на весёлую девушку, вдруг погрузился.

С настойчивостью избалованного ребёнка, который знает, что ему ни в чём отказано быть не может, Лена начала расспрашивать о причине грусти.

– А! – отозвался парень. – Как же мне не грустить, когда не сегодня-завтра буду вынужден уйти отсюда.

Лена подскочила, хлопая в ладоши.

– Почему? Куда? – крикнула она. – Это быть не может.

– Должно быть, – сказал печально Гжесь. – Всё моё имущество – это то, что умею, и чему научусь, поэтому должен идти в свет искать мудрости.

В глазах Лены стояли слёзы, не говорила ничего, только встряхивала руками. Гжесь, как старший, начал объяснять необходимость, и говорить о будущем, о возвращении. Девушка, не зная, как убедить его и отвести от этого намерения, побежала жаловаться матери, но нашла её уже приготовленной.

Итак, нужно было поддаться необходимости, которой Лена вовсе не понимала. Она сдавалась ей с глубокой жалостью к Гжесю, на которого хотела гневаться, и не могла.

Она плакала в своей комнатке, а мать, не в состоянии иначе, утешала её тем, что добрый приятель вернётся.

В каморке мальчика лежали уже готовые узелки, немного одежды, еда и калетка с собранными грошиками. У Гжеся сжималось сердце... Он боялся прощания и собственной слабости, и одного весеннего дня, похожего на утро, когда он оставил Санок, вышел с узелком на плечах, с палкой в руке, переступая порог гостеприимного дома, когда все ещё спали...

Потихоньку он отворил и закрыл за собой дверь. Поглядел на тихий дом, благословил добрых людей, и, пробуждая в себе мужество, пустился пустыми улицами города к Флорианским воротам.

Час был такой ранний, что, почти никого не встретив, он дошёл до предместья. Повернулся ещё раз к этому городу с немым прощанием и вдруг, как бы сам себя боялся, быстро пошёл по тракту, не оглядываясь уже, а в душе повторяя только:

– Вернись! Вернись!

Когда Гжеся целый день не видели в городе, сразу разошлась весть, что, натворив что-нибудь, он сбежал, опасаясь наказания.

Ругать его было некому.

## IV

Спустя пять лет после этого мнимого побега Гжеся в постоялом дворе под Краковом, который назывался Подрубом, на крыльце отдыхал молодой путник, покрытая пылью одежда которого, вспотевшее лицо, грязные и побелевшие от пыли башмаки говорили о долгом путешествии.

Он как раз снял большой узелок с плеч и положил его подле себя на пол, разглядывая околицы. Делая вывод из одежды, путник казался иностранцем. Он был одет так, как в это время ходили в Германии, неизысканно, но чисто. Одно то, что пешим проделал путешествие, доказывало, что, должно быть, был небогатым. Одежда из грубой ткани и невзрачная доказывала это предположение. Однако же лицо и фигура путника до некоторой степени доказывали обратное; лицо имел красивое, черты благородные, а выражение их, энергичное и гордое, не согласовывалось с посеревшим кубраком. Он смело оглядывался вокруг, а уста его стягивались дивной улыбкой.

Постоялый двор предместья был подобен всем гостиницам этого рода, куда сбегается сброд, бродяги, нищие и то, что в или городе показаться не смеет, или тут ищет лёгкого заработка.

Перед въехой сидел на земле слепой старец с вытянутой рукой и белыми глазами, поднятыми вверх, хриплым голосом напевая какую-то песню. Подле него дремал маленький мальчик, скрюченный и сгорбленный от усталости.

Конюхи осматривали худых коней, наверное, украденных где-нибудь с пастбища, которых им оборванцы навязали за бесценок.

Из избы был слышен резкий гомон пьяных и крикливые песни. В сенях, взявшись за бока, немолодая женщина с сильно покрасневшими щеками переминалась с ноги на ногу, точно вызывала на танцы.

На минуту останавливались крестьянские телеги и, не высаживаясь, кметы, просили у хозяина пива.

Хозяин, человек высокого роста, страшно заросший, с чёрными глазами, которые, глядя, кололи как ножи, выбегал всё чаще, наклоняясь в низких дверях, то с деревянным кубком, то жестяной меркой, вынося напиток и ругая тех, что за ним с телег сойти не хотели.

В рубашке, фартуке, с босыми ногами, в рваных башмаках, грязный, корчмар был неизменно деятелен. От его глаз ничего не ускользнуло, а все, что задерживались под его въехой, казалось, были ему знакомы. Обращался к ним доверительно по имени, наскоро давал советы конюхам, угрожал продавцам клячей, смеялся над пьяными, а не забывал получать динары и высыпать их в кожаный кошелёк, который висел у его пояса.

Был это славный Дзегель, человек, которого за раны и синяки выгнали из города, известный непоседа. Приятели и родственники его выбили ему то, что, хотя в городе показываться не мог, тут же рядом с ним, однако, он держал постоялый двор, на что смотрели сквозь пальцы.

Дзегель уже несколько раз бросил взгляд на путника, который отдыхал на крыльце и ничего от него не требовал.

Он думал, что в конце концов он догадается, сев под крышу, заплатит за гостиницу, напиток или еду.

По правде говоря, последнее у Дзегеля получить было трудно, потому что тут люди больше пили, чем ели, но хлеб, сыр и молоко были в каморке.

Казалось, путник вовсе не видит хозяина, или не обращает на него внимания. Дзегель собирался уже уйти, сооротив гримасу, когда в эту минуту из города прискакал всадник, усатый юноша, с мечиком у пояса, выглядящий городским или шляхетским слугой.

Он остановил перед въехой коня, отер пот с лица и, нагинаясь, крикнул:

– Дзегель! Пива! Человек в такое пекло бочку бы целую высушил, если бы ему её налили. Услышав этот голос, путник, который смотрел в другую сторону, вздрогнул и стал внимательно присматриваться к прибывшему.

Тот также, заметив его, казался удивлённым, неуверенным, словно припоминал себе какое-то старое знакомство, немного подогнав вперёд коня, он приложил к лицу руку и начал что-то бормотать.

Путник между тем встал с лавки.

– Ей-Богу! – сказал он по-польски, хоть одежду имел немецкую. – Ведь Дрышек!

Тот, услышав своё имя, уже слезал с клячи.

– Гжесь Стременчик! – крикнул он. – Жив, значит, а мы тебя тут уже похоронили.

Подали друг другу руку.

– Хотя в последнее время мы не были приятелями, – начал Дрышек, – потому что ты нас всех своей учёностью раздражал, мне приятно, что вижу тебя живым! Где же ты бывал? Пять лет назад...

– Пять лет, которые прошли у меня как пять дней, – рассмеялся Гжесь. – Где бывал, слишком долго было бы рассказывать. Скорее ты, по-видимому, расскажешь мне, как со школьной скамьи попал на коня и припоясал меч. Тебе ведь бакалавром или сениором быть хотелось.

Дрышек сделал гримасу и махнул в воздухе рукой. Поскольку Дзегель подавал ему пива, прежде чем собрался ответить, он опорожнил одним духом целый кубок; вытер рукавом усы, бросил на подставленную ладонь грошик и только тогда обратился к Гжесю.

– Ну да, правда, – сказал он, – мне хотелось быть бакалавром, но наука в голову не лезла. Наконец у меня высыпали усы и начал чувствовать волю Божью, а *quadrivium* не мог преодолеть. Тем временем мне попала дочка богатого солтыса, девка как лань... я предпочёл её *siziojany*!! Кому что предназначено, не минуёт. Хозяйничаю при отчине и спорю с ним.

Он пожимал плечами и смеялся.

– Теперь, как на бумагу смотрю, – добавил он, – мурашки по мне бегают, а как вспомню школу, или она мне приснится, тогда я весь день злой и кислый. А ты? С чем вернулся?

– Я? – ответил Гжесь, показывая узелок, лежащий под крышей. – Я везу первого, может быть, Вергилия в Краков.

– Что это за чёрт, этот Верги... ний? – отпарировал Дрышек.

Гжесь рассмеялся.

– Я предпочитаю его твоей солтысовне, – сказал он весело. – В течение пят лет я учился и учил, бродя. Я пошёл сперва во Вроцлав, где пива, правда, было предостаточно, но учителей не хватало, потом в Лейпциг. Был я и в Магдебурге, и в Норимберге и дальше по Рейну прямо по целой Германии...

А что это за особенный свет!! Было на что смотреть и чему учиться.

– Ну, и саквы, полные мудрости, ты принёс с собой, – добавил насмешливо Дрышек. – А грошей много?

– Почти столько же, – отозвался, пожимая равнодушно плечами, Гжесь, – сколько тогда, когда вы меня идущего из Санок встретили.

Дрышек сделал презрительную гримасу.

– Стоило ходить так далеко! – забормотал он. – Бедность ты имел и в Кракове.

– Но того ума, что я приобрёл среди людей, не имел, – сказал Гжесь.

– И что же с ним будешь делать? – вставил насмешливо Дрышек, оглядываясь на своего коня. – Небось, на клеуху метишь? Ну, тогда было бы ещё полбеды, но и те паны коллегаты наши, профессора и доктора, хоть капелланы и мудрые люди, хлеба много не имеют. Пойди на улицу Св. Анны, а хоть бы и в высший коллегийум, увидишь, как они живут и едят.

А как работают... Бог с вами! Я предпочитаю дочку солтыса и своё хозяйство.

– Каждому своё! – сказал Гжесь.

Они взаимно посмотрели друг на друга такими глазами, словно хотели сказать, что, по-видимому, никогда не поймут друг друга.

Затем Гжесь быстро вставил:

– Жив каноник Вацлав?

Дрышек должен был подумать над ответом, потому что мало заботился о тех людях, которые Гжесь больше других интересовали.

– Гм! Медик? – спросил он. – Жив! Постарел немного, двигает ногами, траву всегда собирает, людей морит и лечит.

– А с Самком что стало?

Самек также, по-видимому, вышел из памяти Дрышека, потому что долго думал, прежде чем его вспомнил.

– Тот уже носит облачение клеха, но его не рукополагают, потому что не знает что нужно, – сказал он через минуту.

Вспомнив нескольких одноклассников, о которых Дрышек немного знал, Гжесь в конце как-то несмело, колеблясь, отважился спросить о том, что его больше всего волновало.

– Как дела у Бальцеров?

Глаза Дрышека злобно заблестели.

– Гм? – воскликнул он. – Ты ведь должен был сперва о них спросить? Твоим Бальцерам везёт, как везло, обогатились только ещё. Немец накупил много камениц и так растолстел от свидницкого пива, что брюхо перед собой едва поднимает.

Сама Бальцера также не похудела, а доченька их выросла в самую красивую куколку в городе. Люди к ней едут как к чудесному образу, так как правда, что на удивление красива, а говорят, что и умна. Притом единственная у родителей и все каменицы Бальцера отойдут ей, поэтому там пан и шляхтич готов в сваты.

Гжесь грустно и на первый взгляд равнодушно слушал это повествование; Дрышек, прищурив один глаз, всматривался...

Обратил потом глаза к небу, чтобы определить по солнцу и вовремя доехать до дома.

– Я должен ехать, – сказал он, – да и вам тоже, прежде чем закроют ворота, нужно поспешить, дабы на Клепаре не ночевать, но когда поздно приеду, тесть будет ругаться, а жёнка подумает, что с девушками на Околе забавлялся. С ней дело обычное, предпочитаю лиха не дразнить.

Он взялся за седло, подавая Гжесю руку.

– А почему ты говорил, что так счастлив с жёнкой, – ответил Стременчик, – когда тебе её и тестя нужно бояться?

Дрышек сделал дивную гримасу.

– Нет хлеба без ости, нет рыбы без кости, – сказал он тихо. – Предпочитаю уж, чтобы жена побранила и тесть погрозил, чем умереть с голоду и голову ломать над письмом.

Будь здоров!

Так они расстались. Гжесь вернулся на крыльцо и, достав хлеб с сыром, по-старинке, велел подать к ним мерку слабого пива, которым запил ужин. Взял потом на плечи узелок, палку в руки и живо пустился известной уже дорогой к городу.

Сравнивая теперь первое своё прибытие в Краков и возвращение в него восемь лет спустя, он думал, взвешивал и рассчитывал, что приобрёл, а мог по этой причине быть гордым. Чувствовал, что время не потерял, и что его узелок, на который Дрышек так презрительно поглядывал, содержал в себе больше, чем то, что тот приобрёл за девушкой в приданом... Пережил много, промучился немало... среди чужих, но урожай его за это наградила.

Теперь уже он мог смело записаться в Академию и слушать всевозможные науки, потому что был приготовлен и сведущ в этих науках.

Он хотел быть бакалавром, магистром, доктором, а потом засесть в коллегиум и читать молодёжи лекции о том, что кропотливо приобрёл.

«И надеть духовное облачение...» – подумал он про себя, и лицо его нахмурилось.

Перед ним стояла прекрасная Ленка и живой мир, который был закрыт духовным.

Он вздохнул.

Да, нужно было выбирать из двух: мудрость или жизнь, один из двух миров: клауструм науки или театр активной жизни. Давно уже борьба этих двух вездесущих и непримиримых противоречий раздирала его душу... а когда думал о том, что нужно было выбирать одно, в конце концов отталкивал оба, потому что всегда по чему-нибудь пришлось бы плакать.

– Времени у меня достаточно, – говорил он себе, – Бог укажет, что делать. Он вёл меня до сих пор... вдохновит в решительную минуту.

В городе уже звонили на вечерние молитвы, когда Гжесь, пройдя ворота, вышел на улицу, а вид этих знакомых мест, усеянных столькими памятками, развеселил его.

Они возвращали ему ярко проведенные здесь годы.

Но напрасно он обращал глаза на людей, лиц знакомых не было. Никто с ним тут не здоровался, поглядывали, как на чужого. На Флорианской немец, стоящий перед домом, увидев его и по одежде догадавшись о странствующем земляке, спросил его на своём языке.

В течение пяти лет Гжесь с ним освоился и по произношению в нём нельзя было узнать поляка. Отвечал таким немецким языком, что мещанин, подавая ему руку, пригласил к себе в гости. Он действительно в этом нуждался, хотя бы на одну ночь. Снова напрашиваться к Бальцерам не хотел, хоть ему не терпелось их увидеть. Поэтому он принял предложение пана Курта, ювелира, который ввёл его в избу, не сомневаясь, что перед ним земляк. Стременчик также не считал нужным выдавать, кем он был, и на вопросы так ловко отвечал, что не выдал себя.

Поскольку одежда и фигура не наводили его на мысль, что был студентом, приняли его за подмастерье какой-нибудь гильдии и ремесла. Гжесь не мог оставить хозяина в этом заблуждении и признался ему, что прибыл в Академию для учёбы.

В Кракове того времени уже было не редкостью, что чужеземцы тянулись туда к молодой матери. Даже приезжало много венгров, чехов и немцев, а Ягеллонская школа пользовалась в мире славой не меньше, чем её старшие сёстры.

В эти ранние времена тут также объявляла о себе, особенно в теологическом коллегиуме, великая, горячая, юношеская жизнь, лучшим доказательством чего был многочисленный отряд учеников, который уже давал знать о себе своим благочестием и знаниями, жертвенной, апостольской, аскетичной жизнью.

Поэтому галантерейщика не удивил немец, который пришёл туда за мудростью, хотя показалось ему особенным, что потащился в такую даль.

С тем христианским гостеприимством, которое было в то время повсюду обязанностью и обычаем, дали Гжесю еду и кровать. Он рассказал им за это о далёких краях и городах, по которым они скучали.

На следующее утро, оставив свой довольно тяжёлый узелок, потому что в нём больше всего весели бумаги, переодевшись, Гжесь сначала поспешил в костёл Св. Анны.

Там уже среди студентов после пяти лет он не нашёл ни одного знакомого лица, потому что дети выросли и изменились, а старшие пошли в свет. Зато костёл не изменился, как если бы Гжесь из него вышел вчера.

На пороге он заколебался. Сердце его тянуло к Бальцерам, а охватывал какой-то страх. Пошёл к канонику Вацлаву. Когда, постучав в дверь, он вошёл на порог, старичок, сидящий в кресле над огромной книгой, поднял уставшие глаза, всмотрелся в него, и не узнал.

Был ли повинен ученик, что так изменился, или зрение, что так ослабло?

Только тогда, когда Гжесь приблизился, чтобы поцеловать руку, сказав обычное: “Laudetur” – каноник, оперевшись на оба подлокотника, с радостью вскочил на ноги:

– Гжесь! – воскликнул он. – Благодарность великому Богу! Целый! Живой! А возмужал? А разума набрался? А науки вкусил?

Голос старца стал слёзным...

Зрение он имел слабое, а хотел присмотреться к юноше; поэтому он привлёк его к себе и с радостью разглядывал его мужское лицо, а из его уст вырывались вопросы, на которые не дожидаясь ответа и забрасывал его новыми.

Стременчик, у которого на сердце после приветствия каноника сделалось тепло, разговаривал свободно, а о пятилетнем путешествии взаправду было что рассказать.

Он ко всему присматривался. Хоть языки и поэзия, особенно старинные, больше всего его к себе притягивали, не меньше также наблюдал и изучал то, что учили в естествознании.

Это наука была, к несчастью, в колыбеле, не входила в программу и Гжесь, только встречаясь с лекарями, мог немного получить информации, которая ограничивалась сочинениями старинных писателей. Из тех же только латинские были доступны значительнейшей части учёных, потому что греческий язык только начинали изучать, а о греках знали только то, что можно было узнать о них от латинских авторов.

Каноник же не столько занимался теологией и историей, поэзией и риторикой, сколько вопросами, касательно естественных наук. Был это, как раньше их называли, человек, интересующийся природой, (*naturae curiosus*) в полном значении этого слова.

Гжесь тоже имел склонность изучать эти тайны, но для него ключом к ним было изучение языков, потому что вместе со многими людьми своего времени, он понимал, что сначала надлежало усвоить для себя то, что человечество приобрело за столетия, чтобы идти дальше по дороге открытий и прогресса.

– Что ты теперь думаешь делать? – спросил в конце ксендз Вацлав, по-прежнему его разглядывая.

– Дорогой отец, – сказал Гжесь, колеблясь, – точно не знаю, что сделаю. Попрошу Бога вдохновить меня, какой мне пойти дорогой, верно то, что хочу учиться, что в нашей Академии послушаю и посмотрю, и буду добиваться бакалаврства, а хоть бы и берета, ежели сил хватит.

– Да, да, не может быть иным твоё предназначение, – сказал ксендз Вацлав, – ты должен надеть наше облачение и будешь когда-нибудь столпом нашей Ягеллонской школы, которая осветит мир великим блеском.

Наука, кто однажды с ней обручился, становится ему верной спутницей до конца жизни.

Ещё слишком молодая кровь текла в жилах юноши, чтобы совсем мог отказаться от света, поэтому молчал, ни отрицая, ни поощряя.

Каноник постоянно расспрашивал о немецких городах и школах, о лекарях и травах, об особенных животных, какие мог видеть или слышать о них в путешествиях. Но, несмотря на своё любопытство, мало что из этого принёс, что ксендзу Вацлаву было желанно.

Зато в его узелке были Вергилий, Овидий и Статиус, которые учёного лекаря мало интересовали, хотя в средние века Вергилий считался чернокнижником и сведущим в великих тайнах природы.

Долго посидев со старичком, наконец Гжесь ушёл, прощаясь с ним, чтобы, как он говорил, искать себе помещения в городе.

В то время, как было принято в других академиях, уже была бурса Иснера, называемая Убогих или Королевской Ягеллонской, на Висльной улице, о которой подумал ксендз Вацлав, чтобы направить в неё Гжесю, но в то время, как почти всегда, она была битком, а Стременчик также имел надежду, никому не будучи втягость, переписыванием зарабатывать себе на жизнь.

Это мастерство, с которым он уже пустился в путешествие, во время его он довёл до такого совершенства, что красотой письма смело мог бороться за первенство с первыми каллиграфами.

Также он сделал большой прогресс в музыке, а так как имел чрезвычайную память, принёс с собой большой запас костельных песен, сенквенций, гимнов, латинские и немецкие песенки весёлого содержания. Игра на цитре и голос, который с возрастом изменился, но звучания не утратил, делали его по тем временам порядочным музыкантом. На органе он также умел аккомпанировать. Со всеми этими талантами, живым и быстрым умом, храбростью и подкупающей внешностью, мог ли сомневаться в себе бедный шляхтич, происхождение которого облегчало в получении места среди людей?

Выйдя от каноника, который требовал, чтобы он к нему вернулся, потому что хотел найти ему место при себе и выпросить комнатку в доме, который занимал, Гжесь имел решение направиться к Бальцерам.

Почему его задерживали страх, какое-то странное чувство робости, предчувствие разочарования, он не мог объяснить.

Шёл и замедлял шаги, останавливался, отступал.

Что там найдёт после пяти лет? Давнюю подругу игр, которую называл сестричкой, похорошевшую, гордую, изменившуюся? Дрышек ему говорил о ней, что люди за ней бегали, чтобы полюбоваться её красотой!

Гжесь, может, сам о том не ведая, опасался, как бы новая Ленхен, которую должен был увидеть, не забрала у него, не стёрла милого воспоминания о той, которую любил, и с чьим образом в душе все эти пять лет проходил по свету.

Так он оттягивал посещение Бальцеров, что уже дело было к вечеру, когда он набрался мужества и направился к их дому.

Издали он видел дом, совсем не изменившийся, таким, каким он был, когда потихоньку, утром он выскользнул из него. Но на улице и у дома что-то происходило, из-за чего Гжесь, не в состоянии сразу понять, задержался на минуту.

Пороги всех домов, окна, дороги были переполнены людьми, в воздухе полно смеха и радости.

Издали доносилось бряцанье гуслей, визжание дудок, какие-то крики и хлопанье в ладоши.

Кроме толпы любопытных, которая наполняла улицы и тротуары, посередине неё он заметил группу разодетых мещан, женщин в богатых чёлках, юбках и вуалях и мужчин в парадных шапках, в обрамлённых плащах, остроносых ботинках.

Очагом движения, местом, к которому всё это притягивалось и скапливалось, Гжесь не мог ошибиться, был дом Бальцеров.

Это его поразило и он побледнел. Догадаться было легко, что ничего другого такого весёлого случиться не могло, кроме, пожалуй, обручения или свадьбы, не чьи-нибудь, а Лены.

Она была единственной дочкой, а на такое торжество и дорогостоящее обручение или свадьбу мог, пожалуй, решиться только такой богатый человек, как Бальцер.

Тот старый обычай, что свадьба должна быть как можно более великолепной и продолжаться как можно дольше, был равно шляхетский, как мещанский. Те, что не давали приданого за детьми, боролись, чтобы этот торжественный день сделать для них памятным.

Уже в то время должны были принимать меры, чтобы на слишком людные банкеты, на слишком многочисленные тарелки, на чересчур дорогих шутов не разоряться.

Свадьба Ленхен! И нужно было, чтобы судьба привела Гжесья именно в этот день и час, когда она состоялась?

Бедняга остановился с заломленными руками, а внутренний голос говорил ему:

– Так хотела твоя судьба, чтобы указать дорогу и предназначение!

Хоть не признавался в том самом себе, Стременчик питал какую-то надежду, что Ленка о нём будет помнить, что, может, был бы... Кто же знает?

В первом запале он отказался от неё ради науки, добычи, какую уже приобрёл и будущего. Однако Дрышек так всё пожертвовал ради дочки солтыса!

Он грустно усмехнулся. В его жизни всё было как бы заранее предназначено для него, какая-то сила указывала ему дорогу, которою он должен был идти. Сопротивляться ей не мог...

Он поднял глаза и, глядя издали на весёлую толпу, осаждающую дом, среди которой нельзя было различить людей, он рассуждал, должен ли был зайти на свадьбу? Или убежать от неё?

Но зачем было убежать? Ведь там о нём забыли и ни у кого сердце не резало от тоски. Ленхен вовсе не помнила товарища и учителя. А он?

Должен ли он быть слабее их и плакать из-за потерянной игрушки? Он имел в жизни более важную цель.

С такими мыслями Гжесь неспешным шагом начал приближаться к дому Бальцеров, повторяя, что было чудом Божиим послать его в этот день и час, чтобы разорвал последний узел, кой не позволял ему услышать призыва.

– Облачение клеха! Келья монастыря! Одинокая жизнь до смерти, это моё предназначение!

Он шёл, всё смелее направляясь к дому, хоть горько было у него в душе, будто полынью запыла, решил быть весёлым.

Ему это казалось долгом.

– Буду им играть и петь, и смеяться, как будто был самым счастливым, – говорил он про себя, – иначе зачем идти к ним.

К порогу трудно было протиснуться, большая часть гостей стояла на крыльце и в сенях, а оттуда были видны заставленные столы, даже на внутреннем дворе, который очистили и посыпали ароматной травой. У порога стояли музыканты, играя пискляво и странно, но их никто не слушал, потому что подвыпившие гости уже пели и громко разговаривали.

Гжесь, который в этот день был богато одет по-немецки и выглядел красиво, не узнавал никто.

Смотрели на него, подрозумевая пришельца... Бальцер, Бальцера и молодая панна были внутри дома. Одна старая служанка, что некогда о нём заботилась, когда был студентом, неся оловянные тарелки, когда случайно огляделась, увидела его, остолбенела от удивления, крикнула, и тарелка с рыбой, которая на ней была, выпала из её рук.

На звон прибежала Бальцера, не ведая, что случилось... и та сразу узнала Гжесь. Побледнела, онемела, но вскоре, придя в себя, приблизилась к нему.

Стременчик тем временем делал всё, что мог, чтобы показаться весёлым.

Сложилось так, что, прежде чем мешанка могла добраться до такого неожиданного, а может, нежеланного, гостя, Лена, которую муж вёл к столу на предназначенное ей место, на мгновение показалась в дверях.

Взгляд её побежал к матери, она побледнела и вскрикнула.

Случился переполох, потому что никто не мог угадать причины, от чего молодая госпожа встревожилась. Это приписывали жаре и усталости, так что наполовину бессознательной мать и молодой пан едва помогли, чтобы не упала.

Гжесь, хоть не видел ничего, кроме её лица, очень изменившегося, похорошевшего и грустного, узнал её с первого взгляда.

Она была чудесно прекрасна и красива как ангел, а богатый наряд, белые ободки, драгоценности, которыми была покрыта, увеличивали красоту личика, среди множества красивых, свежих и молодых выделяющегося чистотой черт и благородным их выражением.

Рядом с ней Гжесь в молодом, румяном, по-своему также красивом юноше, которого молодость и здоровье, и какое-то добродушие весёлого и честного лица делали достаточно милым, угадал будущего мужа Лены.

Был это сын богатого купца из Ниссы в Силезии, которого по имени звали Фрончком.

Обморочной молодой девушки и замешательство, которого он был причиной, продолжались недолго. Поскольку на свадьбах на всё обращали внимание, а каждое малозначимое приключение суеверно казалось пророчеством будущей жизни супругов, мать подбежала к дочке, шепнула ей что-то на ухо, и через мгновение Фронек уже вёл пришедшую в себя Лену.

Поднимаясь, она бросила взгляд в сторону двери, её взор встретился со взглядом Гжеся, она ему грустно улыбнулась.

Теперь мать с такой же вынужденной улыбкой, как дочка, протиснулась через группу гостей и приблизилась к стоящему у порога.

Она сердечно приветствовала Гжеся, но на лице её рисовалась грусть.

– Подойдите ближе, – сказала она, вводя его внутрь. – Вы странно выбрали день своего возвращения. Знаете, мы тут уже считали вас погибшим. Ходили разные вести. Нас уверяли, что вас постигло несчастье. Лена оплакала своего учителя. Ведь это пять лет!

Толстый Бальцер, который от жары, парадного костюма и усталости весь был как из бани, вышел красный и мокрый, шёл также приветствовать Гжеся; не такой удивлённый и взволнованный, как другие.

Студент тем временем изо всех своих сил старался показать себя очень весёлым. Специально громко смеялся, начинал шутить и принимал вид такого легкомысленного бродяги, каким никогда не был.

Поскольку свадебное общество состояло по большей части из немцев, Гжесь должен был пользоваться их языком, но он так им владел теперь, что не хотели верить, что он был поляком.

– Что удивительного, – воскликнул он, обращаясь к окружающим немцам, – я был бы бездарностью, если бы, пять лет таскаясь по Германии, не усвоил их речь. Без упрёка к вам, господа, что тут в Кракове по двадцать лет сидите, а польский язык мало знаете.

Не скоро после этих первых бесед Бальцера привела Гжеся к молодой пани, чтобы также ближе её приветствовал и познакомился с Фрончком.

Лена давно преследовала его глазами, а когда подошёл, она вытянула к нему руку, говоря мужу:

– Это мой учитель, о котором я тебе рассказывала. Смотрите, чтобы были друг с другом добрыми приятелями.

Фрончек, сердечный парень, тоже без малейшей ревности встал обнять Гжеся, с честной улыбкой, и выразил это просто, как радуется, что на свадьбе Господь Бог дал ему гостя такого приятного его жене.

– Видит Бог, – отозвался Гжесь, постоянно прикидываясь весёлым, – что меня сюда принесла чистая ирония судьбы, почти чудом. Ведь, входя на улицу, я о свадьбе вовсе не знал, а Дрышек, которого вчера встретил на дороге, хотя я спрашивал его о семье Бальцеров, ничего мне об этом не напомнил.

Бальцера сразу посадила Гжеся к молодёжи, дав ему хорошее место, с которого он мог присматриваться к молодой девушке.

Она сидела грустная, но это известная вещь, что молодая жена на своей свадьбе слишком радость показывать не должна.

Поэтому это никого не поразило. Зато Фрончек смеялся, шутил, наливал, и шутам, что к ним приближались, сыпал пригоршней деньги в подставленные колпачки.

Общество составляли преимущественно мещане купцы и немцы, хотя духовных лиц и клехов также в нём несколько находилось. Те, узнав, кто такой был Стременчик, и вспомнив,

что тут о нём рассказывали, сразу прильнули к нему. А так как вина и мёда было вдоволь, и в головах кружили весёлые мысли, вспомнили пение Гжеся и его голос.

Что если его тогда обступить и попросить песенку?.. Цитра нашлась под рукой. Её вложили ему почти силой. Старая Бальцера, хозяйин, молодая пани и её муж так усиленно настаивали, что, хоть, может, петь ему не хотелось, поддался просьбам.

Музыкантам и шутам наказали молчать, а Гжесь, перебирая пальцами по струнам, начал с немецкой песенки.

Он долго её выбирал в уме, потому что было из чего; не хотел грустную, не мог весёлую, поэтому запел нейтральную о семи желаниях:

Hält ich siben Wunsch in meiner Gwalt...

Её все знали, но голос Гжеся, даже для тех, кто слышал его раньше серебряным, детским, сладким, зазвучал так, что самые дальние пирующие вскочили с лавок, подбегая ближе, чтобы его лучше слышать.

Разошлось с такой силой, с таким звуком, что даже те, что поначалу пренебрегали этой демонстрацией, замолчали в удивлении. Никто там отродясь такого пения не слышал; искусённого, смелого, долгим опытом сделанного послушным инструментом господина. Песня, казалось, ничего не стоила тому, кто её пел, давалась ему легко, без усилия, как птичке на ветке.

Когда он закончил свои «Семь желаний», среди которых была и любовь красивой женщины, но втиснутая между такими потребностями жизни, что ей там стыдно было помещаться, не много обращая внимания на слова, все удивились чудесному исполнению.

Пирующие были в хорошем расположении духа, казалось, холодная песня не очень им пришлась по сердцу. Настаивали на одной из тех любовных немецких песен, которая взбудоражила бы до смеха и румянцев. Гжесь согласился, но выбрал скромную и грустную, пел её, опустив на цитру глаза, и хоть голос хвалили, требовали от странствующего студента нечто более смелого.

Он этому сопротивлялся.

– Хотите весёлую, тогда спою вам нашу, школьную, студенческую... но по латыни...

Он подхватил кубок с вином, глаза его дико засветились, силой заставил уста как-то отчаянно улыбнуться, сильно ударил по струнам и... сильным голосом начал:

Vinum bonum et suave,  
Bonis bonum, pravis prave...  
Cunctis dulcis sapor, ave!  
Mundana laetitia!

Хоть не все понимали, весёлой, безумной ноты хватило вместо слов, все начали вторить Гжесю, топая в такт ногами и стуча в оловянные миски. Затем, точно усилие это было сверх его сил, студент выпустил цитру, залпом выпил до дна наполненный кубок и поднялся. Лицо его побледнело и изменилось, он задохнулся от притворной радости. Он вскочил с лавки, желая выйти, объясняясь изнурительной дорогой и необходимостью в отдыхе. Не смели настаивать, Гжесь через минуту незаметно вышел, бросил издали грустный взгляд на молодую девушку, как бы прощался с ней, вмешался в толпу прохаживающихся около стола гостей и среди них исчез так, что не видели, когда он ускользнул из дома Бальцеров. Тем временем свадьба с музыкой и плясками продолжалась до белого дня...

## V

В те времена, когда Гжесь прибыл в Краков, в молодой Академии прославился Амброзий Бонер; он был много старше его, но расцветающий для жизни.

В двадцать с небольшим лет он завоевал себе первый академический лавр, и когда иные его ровесники ещё учились, он уже писал комментарии к Петру Ломбарду.

Ребёнок богатой семьи, он мог надеяться, показав желание облачиться в монашеские одежды, на самые высокие должности в костёле. Ему пророчили необычайное будущее. Он светился, как бриллиант, не только среди молодёжи, но в кругу старых теологов.

Советовались с ним доктора, восхищались его лёгкостью аргументирования, диалектикой и красивым стилем все стилисты того времени.

Со знаниями, своей молодостью, семейными связями он мог быстро обеспечить себе митру, и никто не сомневался, что она его ждёт.

Но это прекрасное начало совсем что-то иное пророчило.

Будучи двадцати с небольшим лет, ксендз вдруг закрылся на Казимире в монастыре отцов Августинцев Еремитов, у святой Катарины, надел рясу, отбыл послушничество и объявил нерушимое желание посвятить остаток жизни на службу Богу и служению бедным людям.

Чудесный юноша, который в ордене носил имя Исаия, стал одним из тех монахов, каких только знала старинная история древних веков. Посты, молитвы, власяница, ночные богослужения, посещения больных, погребение умерших, служение бедным поглощали целиком... В минуты отдыха он погружался в аскетические книги. Из этой жизни, целью которой было обуздать себя и достичь христианского идеала, ничто его вырвать не могло.

Учёный юноша, проницательный ум которого и чудесно приобретённая эрудиция устыдили мудрых профессоров, поседевших над книгами, не нашли у Августинцев людей, кто бы сумел его оценить, всё-таки с великой покорностью гнул шею перед начальниками, разумом и волей. Был это идеал монаха и тогда уже видели в нём при жизни благословенного.

Во время первого пребывания в Кракове, когда Исаю звали Амброзием, и был он ещё светским капелланом, Гжесь видел его и имел его расположение.

Бонер ценил живой ум юноши, лёгкое понимание, и прислуживался им для переписывания.

С того времени прошло несколько лет. Бонер заперся в монастыре...

Гжесь, вернувшись, не слышал о нём ещё, хоть во всём Кракове его ставили примером благочестия.

Сразу на следующий день после свадьбы, когда он задумчивый проходил по улице, тот случай, который в жизни Стременчика играл такую важную роль, навязал ему... Исаию, который возвращался от гробницы св. Станислава в свой монастырь. Имел он к святому мученику особенное уважение.

В этом новом одеянии Гжесь его, наверное, не узнал бы, особенно, что и лицо молодого Исаии, недавно румяное и свежее, от умерщвления, поста, добровольного мученичества чрезвычайно изменилось.

Бледный, с впавшими щеками, в старой потёртой рясе, босой, с пораненными ногами он даже не обратил на себя внимания задумчивого студента, который со вчерашнего дня был погружён в какие-то грустные думы о будущем, борясь с собой и колеблясь ещё, что предпринять, но Бонер с той проницательностью избранных душ, которые везде ищут боль, чтобы её утешить, сомнение, чтобы его прояснить, вычитал в его лице огорчение, подошёл и поздоровался.

Гжесь не мог его вспомнить. Голос и лицо были ему знакомы, но человек казался чужим.

Монах положил ему руку на плечо и, мягко улыбаясь, шепнул, что был тем, для которого он переписывал некогда выдержки Боэция.

Стременчик только теперь узнал его и с удивлением воскликнул:

– Но что с вами стало? Эта одежда?..

– Дала мне покой, я прибился в порт... я счастлив, – сказал, улыбаясь, Бонер. – Двоим панам служить нельзя. Поэтому я выбрал того, к которому меня великая любовь тянула... окровавленного барашка на кресте.

Почти с завистью и уважением Гжесь склонил перед ним голову и вздохнул.

– Вижу по твоему грустному лицу, – прибавил отец Исаия, – что... душа твоя на перепутье и в неопределённости.

Пойдём со мной, доверься мне, разве не вымолвит через негодные уста Святой Дух, может, тебе утешение дам, а по крайней мере погорю с тобой.

Шли так они вместе в монастырь Св. Екатерина на Казьмеж, а Гжесь тихо рассказывал о своих скитаниях.

Хотя состояние своей души он не поверил Исае, легко ему было угадать его из самого рассказа. Молчал монах, не прерывая. Вместе они вошли в келью монаха.

Отец Исаия специально выпросил и занимал самую жалкую, тёмную, влажную, маленькую келью, а взгляд на неё рисовал человека, который ещё жил на свете, но уже не для света.

Не было тут ни ложа, ни постели, потому что аскет спал едва несколько часов, лёжа крестом на полу.

В углу стояла твёрдая скамеечка для молитв, а около неё разбрызганные капли засохшей крови, свидетельствующие о бичевании. Крест и череп короновали её.

То было пристанище мученика.

Монах с весёлым лицом привёл Гжесья и обратился к нему:

– Здесь счастье моё! – воскликнул он. – Нет его в другом месте!

Какая-то тревога охватила студента, который потерял дар речи.

– Говори как перед братом, что мучает, – добавил монах.

– Вы немного знаете мою жизнь, – начал Гжесь. – Я ушёл из родительского дома ради науки, потому что к ней очень стремился, ради неё голодом и холодом таскался по свету. Я не сыт, не вся наука сладкой мне кажется. Я вернулся в ссоре с самим собой. Надеть ли мне духовное облачение, или стараться служить Богу и людям в деятельной жизни, к которой тягу также чувствую?

Что делать? Что предпринять? Не знаю. Свет мне ещё улыбается, не имею силы от него отказаться, а какая-то сила толкает меня на иную дорогу. Вы, отец, ещё счастливы, потому что голос, который говорил вам, заглушил иные, а я...

Исаия, слушая его, стоял, сложив руки для молитвы, и, казалось, больше, может, молится, чем слушает его, просит о вдохновении сверху.

– Что же ты принёс из того скитания по чужбине? – спросил он мягко.

– То же самое беспокойство, с каким вышел отсюда, великое сомнение, неуверенность во всём, чего я так усиленно добивался. В той человеческой мудрости, которую я желал добыть, едва рюмка уст моих коснулась, амброзия в желчь превратилась. Что издали мне светилось, вблизи кажется презренным. Где я ожидал зерна, нашёл пустую оболочку.

Исаия молчал.

– Я всё ещё желаю учиться, но есть минуты, когда наука мне отвратительна, так как чувствую, что она обманчива. Должен ли я надеть духовное облачение?

Монах подумал, дал знак рукой и пошёл к коврику для молитв, упал на колени, сложил ладони, склонил голову и погрузился в молитву.

Гжесь стоял, глядя на него с удивлением и тревогой.

В этой беседе с Богом Исаия, казалось, о нём забыл, наконец он медленно поднялся. Поглядел на смиренно ожидающего.

– Не спеши с тем, – сказал он, – что должно быть делом убеждения и вдохновения. Соперничают в тебе непослушные элементы, а борьба эта, как любая в жизни, может быть плодотворной. Но в этом состоянии духа к божественным алтарям приближаться не годится. Помни, что первые христиане долго должны были стоять новообращёнными за группой верных, прежде чем были допущены к агапам.

Лучше не входить туда, откуда выходить не следует, чем внести с собой уже не возмущение, но сомнение. Твой взор ещё затемнён земным туманом, не видишь ясно, молись и работай. Когда человек бессилён, тогда стекает благодать на достойного помощи... с благодатью – спокойствие духа, и с нею спадает с глаз заслонка. Нет, не торопись!

Гжесь вздохнул свободней.

– Видишь, – добавил Бонер, – сам капеллан и монах, не тяну тебя к тому, что для меня есть портом и счастьем, ибо нужно избавиться от старого человека, чтобы быть новым, а в тебе кипит кровь и бьётся сердце.

– Значит, я обречён, – грустно прервал Гжесь.

– На борьбу, как все люди, – ответил Бонер. – Одни из них через монастырь идут к небу, другие через мир идут тернистой дорогой. И пурпур бывает власяницей и корона тернием бывает. По-разному зовёт Бог и велит служить Ему.

Как мудрые девы, жди с зажжённой лампой, смотри, чтобы она у тебя не погасла.

Стременчик приблизился, взволнованный, и поцеловал ему руку. Бонер замолчал.

– Ты останешься в Кракове? – спросил он через минуту.

– Мне опротивели скитания, – ответил Гжесь, – хочу слушать науки в нашей Академии и ей служить. Позвольте, отец, в часы сомнений и терзаний об утешении и помощи вас просить?

– Видишь, – сказал Бонер, – что я сам первый обратился к тебе. Как служу всем, так и тебе хочу служить советом и утешением. Иди с Богом в мире...

Монах обнял его, показывая ему как бы великое милосердие, в чём Стременчик, хоть видел некоторое утешение, чувствовал также предвидение тяжелых битв, какие его ждали на свете, и которые благословенный монах предчувствовал заранее.

В конце концов, воодушевившись этим советом и укрепившись в решении ждать, чтобы призвание к духовному сану сильнее в нём объявилось, вышел Гжесь из монастыря и вернулся в город.

У него оставалось много дел, а сперва поискать жильё, потому что ксендзу Вацлаву не хотел быть обузой.

С этими мыслями он входил на краковский рынок, когда увидел одного из вчерашних участников застолья, ранее также ему знакомого купеческого сына, которого звали Гонской, в весёлом настроении направляющегося к Сукенницам.

Гонска узнал его издали и остановился...

От вчерашней свадьбы и пиршества у него ещё что-то осталось от хорошего настроения. Он начал подзывать к себе студента.

– Вы вчера сбежали с поля, не отстояв плаца, – сказал он весело, – вас искали напрасно...

– Не удивляйтесь этому, – отпарировал Гжесь. – Что мне, грустному и уставшему, делать среди весёлых?

– Мы бы вас напоили и развеселили.

– Или я бы вас отрезвил и тоску навёл. Забот имею достаточно и дел много.

– Кто бы этому верил, – рассмеялся Гонска, – разве мы вас раньше не знали, не знали, что умели со всем справляться? Так из сегодня. Не напрасно у вас голова на плечах.

– И голова мало поможет, когда не за что зацепиться, – грустно отозвался Гжесь.

– Ну, говорите ясней, чем так беспокоитесь?

Стременчик не хотел ему исповедаться в настоящей заботе, человек был слишком легкомысленный, чтобы его понять, поэтому, неохотно объясняя, рассказал, что даже постоянного двора себе ещё не нашёл.

– Так рассказывайте, – прервал Гонска, – и пойдёмте со мной. Знаете, или нет, но от отца я наследовал дом на Гродской, живу один с матерью, комнат достаточно пустует... Выберите себе, какую захотите.

– Сдадите мне её?

– Отдам или сдам, как пожелаете, – отозвался Гонска. – Я знаю то, что вы должны писать, а для письма нужен свет; над крыльцом есть комнатка, лестница к ней неособенная, но ноги у вас молодые.

– Пойдём, – сказал Гжесь.

Так быстро нашлось жильё. Каморка была почти пустая, а служила до сих пор только знакомым гостям, прибывающим в Краков. Гонска не требовал за неё много и добавил, смеясь, что Гжесь за каморные тот иногда песню споёт.

Тогда они спустились вниз, к старой матери Гонска, которая сидела в своей комнате, уже почти не в состоянии двигаться, потому что имела немощь в ногах, и из кресла присматривала за слугами и хозяйством.

Несмотря на возраст и слабость, женщина была весёлой, ей было скучно одной в доме с девками, сын редко тут просиживал; она приветствовала нового каморника с большой радостью оттого, что их в доме будет больше.

Стременчик также имел то счастье, что своей внешностью умел понравиться женщинам. Старая женщина, желая задержать их дольше, велела согреть вина для гостя и сына.

– Слава Богу, что вас мой Мацек поймал, – сказала она, – дома нас больше будет. Он не хочет жениться, хоть прошу его и сватаю; а я старая, в доме уже справиться не могу. Быть может, вы мне поможете уговорить его жениться...

Тут бабушка прервалась.

– Ты не нашёл там никого на свадьбе? – спросила она, и, не дожидаясь ответа, продолжала дальше:

– Если бы только хотел, имел бы Ленхен Бальцеров, ей-Богу, а девушка красивая и приданое прекрасное...

– Но! Но! Бальцеровну получить было нелегко. Правда, что красива и богата, но замуж идти совсем не хотела, и родители её едва наполовину упростили, наполовину вынудили...

– Что же у неё было в голове? – спросила старуха.

– Наверное, мечтала о пане, воеводиче или кто её знает, о ком... – говорил Гонска. – А и то правда, что, хоть муж парень красивый и не бедный, и семья достойная, едва мать её кое-как склонила...

Старушка кивала головой.

– Торговалась, – вставила она, – как они все, а такие браки всё-таки самыми лучшими бывают. Ранние по большой любви, потом только квасы и ссоры...

Гжесь, который внимательно слушал, задетый тем, что говорили о Бальцеровой, будто замуж идти не хотела, разволновался от любопытства.

– А откуда вы знаете, что дочка Бальцера не имела охоты выйти замуж? – спросил он.

– Весь город знает об этом, – сказал Гонска, – особенная была девушка, потому что Господь Бог дал ей всё, а такая ходила тоскливая и грустная, точно была самой несчастной. В конце концов кумушки открыли глаза матери, что её во что бы то ни стало нужно выдать замуж.

– Ну и хорошо её выдали, – откликнулась мать Гонски. – Муж – парень дородный, добрый, степенный и не жестокий.

Сын ударил пальцем в лоб, женщина это заметила.

– Это что? – прервала она. – Разве она за двоих разуму не имеет? Всё-таки все и о том знают, что она для женщины аж слишком масла имеет в голове. Не знаю, не лгут ли, но рассказывали, что её кто-то тайно научил читать и писать.

Гжесь покраснел и опустил глаза.

– Разве она после этого, – добавил Гонска, – хотела бы шить и за кухней следить?..

Мать это не отрицала. Стременчик не вмешивался в разговор. Затем хозяин встал и сказал:

– Вы не пойдёте сегодня к Бальцерам? Свадьба продолжается и, наверное, ещё несколько дней протянется. Я также загляну, пойдёмте со мной.

Заколебался Гжесь, его туда очень тянуло, какое-то опасение отталкивало. Идти туда, чтобы его сердце больше болело? Никогда он, по правде говоря, на сильную приязнь к своей ученицы никаких надежд не возлагал; он знал, что бедный парень, хоть шляхетство его что-то значило, богатой купцовой дочке не мог достичь и, однако, теперь, когда видел её замужней, ревность и какое-то чувство непередаваемой боли щемило ему сердце.

Не дождавшись ответа, Гонска начал настаивать сильней:

– Пойдёмте со мной. Вчера на вас там все оглядывались, будут вам рады...

– Вы тоже были на свадьбе? – спросила старуха.

– А как же! – сказал Гонска. – Он, по-видимому, старый знакомый Бальцеров, и очень сердечно его там приветствовали.

Стременчик с горькой усмешкой обернулся к хозяйке.

– Да, – сказал он, – когда я бедным студентом прибыл в Краков, уже много тому лет назад, первые меня кормили Бальцеры...

Старушка покачала головой, Гонска тем временем тянул его за рукав и настаивал:

– Пойдём со мной.

Разум идти не велел, а слабость людская тянула. В конце концов Гжесь поддался искушению.

В этот день, действительно, уже вчерашней давки и толпы не было, но внутри домик был полнёхонький, и музыка, и энтузиазм, и крики около столов, с которых миски и жбаны не сходили.

На пороге их приветствовала Бальцера с уставшим и нахмуренным лицом.

Гжесь не спеша вошёл, ища глазами молодую пани. Она сидела одна, окружённая замужними дамами, а её муж, весёлый, в другом конце комнаты поил гостей. Жена, как и мать, казалась уставшей, была бледной, как вчера, и водила по избе рассеянным взором, когда неожиданно ей попался Гжесь.

Лёгкий румянец покрыл её личико и, словно испугалась, как бы этот гость не ушёл снова, как вчера, смело встала, живо приближаясь к нему.

На её устах появилась улыбочка...

Стременчик, увидев, что она идёт прямо к нему, должен был также сделать несколько шагов ей навстречу. Свадебные гости, которых было полно, захмелелые, мало на что обращали внимания, так были заняты друг другом. Поэтому среди них могли так свободно разговаривать, будто были наедине.

– Долго, долго вас не было в Кракове, – начала тихим голосом Лена. – У вас в дороге время, наверное, быстро бежало, у нас тут медленно. Ну, и вы оставили меня ребёнком, а нашли в чепце.

Она вздохнула. Гжесь силился развеселиться.

– Я вовремя прибыл, – сказал он, – чтобы вас поздравить...

– Не знаю, есть ли с чем, – прервала она, – потому что мне идти замуж сердечно не хотелось. Но отец приказал, мать просила и плакала.

Она опустила глаза, как бы хотели их скрыть.

– Вы останетесь в Кракове? – спросила она.

– Должен, – сказал Гжесь, – я вернулся, как вышел, с пустым кошельком, нужно работать, а среди своих легче и охотней...

Глаза Лены поднялись теперь и долго, упорно всматривались в Гжеся. Казалось, сравнивает живого с тем, который остался в её памяти.

– Не забывайте о нас, – проговорила она спокойно, – когда благодаря Богу вернулись. Старая дружба не должна умирать.

– Благодарность тем более, – прервал Гжесь. – У вашего порога я нашёл первый кусочек хлеба и милосердную руку.

К этому разговору, едва начатому, подошёл молодой муж дочки Бальцера, который беспокойно её искал, весёлым лицом приветствуя вчерашнего гостя. С другой стороны подошла мать, а тут же и некоторые из гостей, вспомнив пение Гжеся, начали его дёргать, снова просили спеть.

Почему у Стременчика было теперь настроение лучше и, не давая себя просить, взял цитру, сам он, по-видимому, не знал. Его все обступили по кругу, в комнате сделалось тихо и зазвучала старая немецкая любовная песня. На самом деле, казалось, что Гжесь смотрит только на струны цитры, но украдкой его взор бегал по комнате.

Утренняя грусть, беспокойство и сомнение, которые завели его в келью Исаи, всё, что от него слышал, было забыто.

Свет показался ему не таким чёрным, жизнь в нём не такой тяжёлой, будущее не таким грозным.

Он мог хоть издали смотреть на чужое счастье... Ни одни плохие люди были вокруг. Пение приносило утешение, а грехом быть не могло.

Почему бы ему не остаться такой птицей певчей, что, напевая, подслащает жизнь другим и себе?

С этими мыслями он закончил песенку и тут же начал другую. Он весь теперь был снова, как не раз в минуты недоли бродячей жизни, в песне, которая его переносила как бы куда-то выше и дальше, и не давала страдать над тем, что было близко.

Чудесная сила поэзии и музыки постепенно опьяняла его самого, а сила их, также певца воспламеняя, овладевала всеми.

Женщины имели на глазах слёзы, мужчины думали, старики вздыхали, мечтали молодые, он забывался... Ступали всё осторожней, шептали всё тише, и когда он наконец замолчал, долго ещё ждали, не начнёт ли заново.

Затем молодая пани, которая вместе с другими заслушалась песней, как бы пробудившись, пошла к столу, налила кубок и принесла задумчивому певцу. Гжесь вскочил.

– За ваше здоровье! За счастье! – воскликнул он громко, но с какой-то дрожью.

Его все обступили, разговор, на минуту прерванный, стал шумным, а студент, пользуясь новым наплывом гостей, пошёл в свою новую квартиру.

Через несколько дней он был уже знаком со всеми и привык к своему положению. На чужбине он много вещей лизнул и вкусил, во многие сокровищницы заглядывал, не имел времени нигде черпать до дна. Его быстрый взор схватывал все слабые стороны обучения и науки, а важными пренебрегал. Нельзя было тратить напрасно время, но только теперь оно должно было обратиться на пользу, пригодиться, и он ревностно взялся за обучение. Гжесь уже знал, что много найдёт скорлупы, что оболочка будет его обременять, формы – утомлять, выводы покажутся бесполезными и длинными, но понимал и то, что лекции были предназначены не для самых быстрых и понятливых, но также для непроснувшихся и ленивых, которые ничего собственной силой не могли добиться, а, согласно расхожему выражению, всё им лопатой в голову класть было нужно.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.